



19

СИНТАКСИС

ПУБЛИЦИСТИКА

КРИТИКА

ПОЛЕМИКА

19

ПАРИЖ

1987

Журнал редактирует :

М. РОЗАНОВА

**The League of Supporters: Т. Венцлова, Ю. Вишневская,
И. Голомшток, А. Есенин-Вольпин, Д. Каминская,
П. Литвинов, Ю. Меклер, М. Окутюрье, В. Турчин,
А. Френдли, Е. Эткинд**

**Мнения авторов не всегда совпадают
с мнением редакции**

© SYNTAXIS 1987

Адрес редакции :

**8, rue Boris Vilde
92260 Fontenay aux Roses
FRANCE**



Некрасов... Светскость, как определяющее, как положительное начало. Все мы монахи в душе, а Некрасов — светский человек. Мы — закрытые, мы — застывшие, мы — засохшие в своих помыслах и комплексах. Некрасов — открыт. Всем дядюшкам и тетушкам, всем клошарам, всем прогулкам по Парижу... Светский человек среди

клерикалов. Ему не доставало трубки и трости.

И посреди феодальной социалистической литературы — первая светская повесть
— "В окопах Сталинграда".

Странно, что среди наших писателей, от рождения проклятых, удрученных этой выворотной, отвратной церковностью, прохаживался между тем светский человек. Солдат, мушкетер, гуляка, Некрасов. Божья милость, пушкинское дыхание слышались в этом вольном зеваке и веселом богохульнике.

Член Союза писателей, недавний член КПСС, исключенный, вычеркнутый из Большой энциклопедии, он носил с собой и в себе этот вдох свободы. Человеческое в нем удивительно соединялось с писательским, и он был человеком пар экселянс!

А это так редко встречается в большом писателе
в наши дни.

Дядюшка в Лозанне... Как это подошло
— в Лозанне...

Преждевременный некролог? Я понимаю. Нехорошо, что преждевременный. Но и как воздать?! Если не преждевременно? Если все мы уходим и уходим, и никто не стоит за нами с поднятыми факелами в руках!

Потому и тороплюсь. Надеюсь. Не умрет...

А его Хемингуэй? Наш российский,
наш советский, наш дурацкий Хемингуэй!
Как он был нам важен, необходим

— этот дядя Хэм.

Почти как "Дядя Ваня", как "Хижина дяди Тома".

В нашу сызмальства религиозную жизнь Хэм, дядя Хэм, вносил почти запретную, подпольную
тему человека.

Ничего особенного: человек? Человек. Человек? — Человеку. Но это уже было так значительно, так осмысленно посреди толпы, принявшей либо звериный образ, либо — еще страшнее — ореол напущенной святости.

Спасибо тебе, дядя Хэм...

Некрасов выше, Некрасов чище, чем кто-либо из всех нас любил Хемингуэя. Да ведь и то сказать — он был старше нас, и старше и живее. Как я сказал — был больше всего человеком среди писателей, а человек — не с большой, а с маленькой буквы — это много дороже стоит.

Почему я все это сейчас пишу?

Когда Некрасов еще не умер?

Чтобы, если он выживет, подарить ему эти странички, как очередную медаль — за отвагу.

А потом, скажите, что мне делать сейчас,

если о нем не писать?

Чем помочь ему, кроме такого вот

прижизненного некролога?

Толпиться в больнице? Звонить по врачам?

Да всех врачей уже обзвонили, и они затыкают уши и не хотят больше слушать этих настырных, неизвестно о чем думающих русских.

"В окопах Сталинграда"... Нужно же было родиться и кончить свои дни в Париже, чтобы где-то посредине написать — в око-пах Ста-лин-града...

Да! Нужно. Нужно же было уехать из Киева,

из России, чтобы приехав в Париж,

тебя разрезали пополам и выкачивали бы гной

из брюшины, из почек и из легких?

Не лучше ли было бы там,

не проще ли было бы в Киеве

и окончить дни, отмеченные "Литературной газетой"?

Куда лезешь? Зачем летишь?

Глоток воздуха. Последний глоток свободы...

А. Синявский

1 июня 1975



1-го июня 1975 года умирал русский писатель Виктор Некрасов. 27-го мая его положили в госпиталь, очень хороший парижский госпиталь, и больше трех часов оперировали, пытаясь спасти от перитонита. Хирург сказал, что любой француз умер

бы за пять дней до такой операции и что, хотя операция прошла хорошо, — положение безнадежно.

1-го июня врачи объявили, что положение резко ухудшилось, что надежды нет и что пора сказать правду жене. И что пора простаться.

Был поздний вечер. Зареванные, мы сновали по коридорам госпиталя, перешептывались, обменивались длинными, горестными взглядами, кругами ходили вокруг бедной жены, которая еще ничего не понимала, а мы уже знали, что к утру ей быть вдовой. Иногда заглядывали в палату. Там, на очень высокой кровати, как на катафалке, лежал полуголый, почерневший Некрасов, обмотанный сетью каких-то трубочек и проводов. Некрасов был без сознания...

И вот тогда Андрей Синявский (а они очень дружили в тот первый для Некрасова год эмиграции) сказал, что есть одно средство, крайнее средство, и что он попробует...

И Синявский написал Некрасову некролог. При жизни.

Это была попытка хоть чем-то помочь, мысленно, словесно, заговорить Смерть в те роковые часы. Эти беглые строки — не очерк и не статья, не письмо и не дневник. Скорее это — полуплач, полужаключение. Что-то вроде колдовства. И вместе с тем, попытка сказать самому Некрасову, что такое Некрасов, потому что всякому писателю очень важно знать, что же он написал в жизни свое, незаменимое, за что мы все и чтим, и лю-



бим, и помним его, как слово нашей эпохи. Не перечисление заслуг, а уяснение лица, стиля жизни и речи.

А к утру Некрасов очнулся: вопреки всем медицинским прогнозам и правилам, очень медленно он стал поправляться. Что его тогда спасло? Могучий ли организм, или антибиотики, или напряженная, сосредоточенная любовь друзей, которая тоже иногда не дает отлететь человеческой душе в иные дали, — не знаю... Но Некрасов выбрался из той могилы и прожил еще двенадцать лет.

Это были очень тяжелые для него годы — годы эмиграции, и скрашивались они, в основном, бесчисленными путешествиями (как он любил ездить!), встречами с друзьями из той, из прошлой жизни ("А ты знаешь, кто приехал?"), а последний год — новой оттепелью дома. Как он надеялся на нее, как следил и как радовался каждому новому слову оттуда. Даже послал в один из московских журналов статью о Корбюзье...

А тогда, в том далеком 75-ом году, 17 июня, в день рождения, когда Некрасову исполнилось 64 года, ему был преподнесен "прижизненный некролог", как очередная медаль "За отвагу". Некрасов прочел и сказал: "Как жаль, что такие про меня слова нельзя напечатать сегодня. Сделайте это после моей смерти..."

Он умер 3-го сентября 1987 года.

М.Р.



*Виктор Некрасов
с издателями
журнала "Синтаксис"
М. Розановой
и А. Синявским.*

Ю. Вишневская

СЕМЕРО ПРОТИВ ФИВ

...Итак, вернемся туда, где мы остановились прошлый раз*. Я не впадаю в эйфорию по поводу горбачевских реформ. Совсем наоборот. Последнее время меня томят предчувствия самого мрачного свойства. Слишком много уже в истории европейских коммунистических партий было таких либералов-реформаторов — как правило, судьба их, если они не успевали вовремя расплеваться с коммунизмом, складывалась трагически. Что-то не выходит у меня из головы одна сцена из "Воспоминаний" Надежды Мандельштам — описание застонавшего от бессильного отвращения Николая Ивановича Бухарина, узнавшего об обстоятельствах ареста Осипа Эмильевича. В тот день 1934 года, пишет Н.Я.Мандельштам, Бухарин, вероятно, с особой остротой почувствовал свою собственную судьбу.

Похоже, еще никогда в течение семидесяти лет существования советской власти не было у интеллигенции большей свободы высказываний, чем сейчас. Какие бы то ни было аналогии с периодом хрущевской оттепели отпадают, если внимательно сравнить прессу соответственно этих и тех лет. Однако, если не за все семьдесят, то, по крайней мере, за последние лет двадцать ни один руководитель КГБ не произносил столь угрожающих речей, какую недавно толкнул нынешний председатель

* "Синтаксис", № 17.

КГБ Виктор Чебриков по случаю 110-летия со дня рождения Ф.Э.Дзержинского*.

Итак, КГБ горбачевские реформы не нравятся. То, что они не нравятся военным, было ясно с самого начала — назначение на пост министра обороны (спасибо Матиасу Русту!) сторонника реформ Дмитрия Язова, как вытекает из содержания публикаций в "Красной Звезде" принципиально ничего в этом смысле не изменило. Раз от разу все более агрессивными становятся выступления члена Политбюро Егора Кузьмича Лигачева: если его статья в журнале "Театр" за август прошлого года, повторяющая по существу идеи А.А.Жданова, была хотя бы вежливой по форме, то последнее выступление Лигачева содержит уже недвусмысленные угрозы.

Сенсации, которые чуть ли не каждый день предлагают нам советские литературные журналы, не отменяют того факта, что большинство в разных руководящих органах Союза писателей составляют единомышленники общества "Память". Противники реформ стоят у руля Союза художников и композиторов. Кинематографисты, театральные деятели и архитекторы свергли руководство своих союзов, но "старые кадры" отнюдь не чувствуют себя сломленными окончательно.

Перестройка и гласность охватили большинство центральных органов печати, включая орган советского правительства, газету "Известия". Однако, не говоря уже о местной прессе, именно та газета, чьи публикации носят установочный характер, — "Правда", — явно ближе к линии Лигачева, нежели к Горбачеву или А.Н.Яковлеву.

Если последовать совету Достоевского и принять в расчет человеческую натуру, то смысл горбачевских реформ объяснить не так трудно. Сталин создал сверхцентрализованное государство — систему, которая худо-бедно, но как-то еще работала, постольку поскольку все в этом государстве, начиная со второго человека после Сталина и до самого низа, дрожали от бесконечного ужаса. При Сталине никому и в голову не приходило саботировать распоряжения начальства. Хрущев уничтожил основания для этого вселенского ужаса, предложив взамен систему регулярной сменяемости руководящих кадров. Как выяснилось впоследствии, именно это предложение и стоило

* "Правда", 11 сентября 1987 г.

Хрущеву его поста — Брежнев сел в его кресло только благодаря тому, что обещал "кадрам" практически пожизненное место в номенклатуре. Сейчас систему, сложившуюся при Брежневе, открыто называют феодально-вотчинной или феодально-байской. Фактически она давала "кадрам" абсолютную власть в пределах района, области или целой союзной республики, не возлагая на них даже минимальной ответственности за результаты.

В итоге произошло то, что всегда происходит не только в любом авторитарном государстве, но даже и в демократическом, если там в силу каких-либо обстоятельств слишком долго задерживается у власти какая-то одна партия. Руководство такой, слишком засидевшейся у кормила, одной партии оказывается втянутым в поток финансовых скандалов — оно коррумпируется. Однако в демократическом государстве коррумпированному функционеру угрожает, во-первых, независимый суд, во-вторых, независимая пресса, и, в-третьих, перевыборы. В Советском Союзе и пресса, и прокуратура, теоретически призванная наблюдать за исполнением законности, и суд оказались подчиненными коррумпированному партийному аппарату.

При Брежневе не только аппарат власти, но и экономика страны в целом перестали нормально функционировать — распоряжения центральной власти саботировались, и, наконец, реальную продукцию постепенно вытеснили приписки.

М.С. Горбачев пришел к власти, вооруженный несколькими основными самиздатскими идеями. Согласно одной из них, гласность (то есть возможность разоблачения в прессе незаконных и злоупотреблений властью) является самой эффективной формой контроля над органами власти — исполнительной, законодательной и судебной, а в советских условиях — также экономической. Термин "гласность" подчеркивает именно эту, контролирующую и разоблачающую функцию печати (в отличие от термина "свобода печати" — то есть, в данном случае условия, необходимого для того, чтобы печать могла свои функции выполнять). Наблюдаемое ныне благодаря гласности смягчение нравов — это минимум, необходимый для осуществления такого контроля над властями со стороны органов печати.

Далее, с точки зрения реформаторов из Политбюро, гласность отнюдь не самоцель, а только первый шаг на пути грандиозной экономической реформы, призванной перевести совет-

скую экономику на мирные рельсы. Созданная Сталиным командная экономика исходила из соображений абсолютного приоритета интересов одного заказчика — Министерства обороны — над всеми остальными возможными потребителями. В годы, когда такая экономика создавалась, этого и не скрывали — сталинские пропагандисты, проводившие коллективизацию, в свое время говорили совершенно открыто, что без коллективизации невозможно провести быструю индустриализацию промышленности, которая в свою очередь необходима на предмет предстоящей мировой революции и неизбежной войны с "империалистическим хищником".

Не очень скрывают это и сейчас. Сегодня, правда, мировую революцию вспоминать не любят. Тем не менее, даже либеральные советские историки, например Федор Бурлацкий, склонны хотя бы частично оправдывать коллективизацию и индустриализацию 30-х годов последующей победой Советского Союза во Второй мировой войне.

Изобретение атомного и водородного оружия привело к некоторому видоизменению мечты о мировой революции. Дальнейшие рассуждения на эту тему не входят в задачи настоящей статьи, однако тут не обойтись без повторения двух общеизвестных истин. Первое — экономика, созданная для удовлетворения потребностей одного-единственного заказчика (военного командования), оказалась совершенно непригодной для удовлетворения нужд миллионов потребителей. Второе — эта банальность не является монополией эмигрантских журналов — советские экономисты знают это не хуже нас с вами. Попытки перевода советской экономики на мирные, то есть на рыночные, рельсы проводились уже неоднократно. Ни одна из этих попыток пока еще не удалась, поскольку все они посягали на привилегии правящего слоя. Само по себе стремление сохранить привилегии — черта общечеловеческая. Сплошь и рядом в истории человечества попытка лишить правящий класс в той или иной стране его привилегий приводила к революциям и гражданским войнам. По К.Марксу, история человечества вообще только и означает историю революций и гражданских войн за отмену привилегий. Тот факт, что мы с марксистской интерпретацией истории не согласны, не означает, что подобно-го в истории человечества вообще не было.

Специфической особенностью данного строя и данного го-

сударства является характер и объем этих привилегий. Приведу пример, который, насколько я понимаю, должен быть наиболее близок читателям "Синтаксиса". Я представляю себе, что где-нибудь в Чили или в Уганде жить, может быть, хуже и противнее, чем даже в брежневской России. Не уверена, однако, что, скажем, чилийский издатель будет по благу издавать избранные труды и собрания сочинений какого-нибудь местного Фирсова, которого никто не читает и не покупает. Я, например, догадываюсь, что среди писателей любой фашистской страны нет недостатка в собственных Софроновых, Проскуриных, Бондаревых, Беловых, Михаилах Алексеевых и т. д. и т. п. Однако везде ли такие писатели пишут коллективные доносы в ЦК правящей партии с требованием обуздать критиков-космополитов, оспаривающих их священную привилегию считаться классиками соответствующей национальной литературы или даже "совестью" оной?*

В России подобный способ разрешения подобных дискуссий родился еще в 20-е годы и по сей день практикуется достаточно широко. В 1960-х годах сталинисты во главе с В. Кочетовым умудрились таким способом натравить Н.С. Хрущева на его собственных сторонников из числа старых и молодых писателей, по сей день называющих себя детьми XX-го съезда. Сегодня некоторые писатели пытаются повернуть этот же маневр с М.С. Горбачевым. Нынешний генсек оказался умнее Хрущева и функционеров из Союза писателей, нападающих на объявленную им гласность, не поддерживает. Зато их поддержали, кажется, Е.К. Лигачев и газета "Правда".

Тот факт, что нынешнее советское руководство начало свои реформы именно с гласности, привело по крайней мере к одному результату. В прошлом противники реформ действовали большей частью за спиной, тихой сапой. Сегодня по крайней мере ясно, кто, как и почему выступает против каких-либо перемен. Видно, например, что за коренную реформу советской судебной системы выступают журналисты и ученые-правоведы из Института государства и права АН СССР и что им сопротивляются юристы-практики (следователи и прокуроры). Совершенно ясно, почему происходящие перемены не радуют военных, почему — КГБ. Ясно, что экономические реформы сабо-

* "Литературная Россия", 27 марта 1987 г.

тируют "командиры производства" на уровне райкомов, обкомов и горкомов партии. Мне лично совершенно непонятно пока что только одно — каким чудом реформаторы из Политбюро умудряются до сих пор оставаться у власти? Не нашими же молитвами?

Среди части западных наблюдателей бытует мнение, что якобы противоречия, выраженные в речах Горбачева и Яковлева с одной стороны и Лигачева и Чебрикова с другой, на самом деле — проявление своеобразного разделения властей (иначе говоря — сговора между обеими этими сторонами).

Подобная точка зрения основана на прочно укоренившемся убеждении, согласно которому на советских вождей законы Божеские и человеческие (в том числе общечеловеческие законы психологии) не распространяются. Между ними-де вообще не может быть разногласий!

Нечего и говорить, что вера в невозможность разногласий между коммунистами опровергается всей историей международного коммунистического движения начиная, по меньшей мере, с 1903 года.

Большинство серьезных людей на Западе, однако, не сомневаются в том, искренни ли те, кто призывают кардинальным образом перестроить советское общество. Искренни-то они искренни. Вопрос в том, насколько можно полагаться на перестройку, которая держится на искренности двух, трех, четырех, от силы семи человек...

ЧИТАЙТЕ!

**САМУЮ ИНТЕРЕСНУЮ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
РУССКУЮ ГАЗЕТУ**



**МОСКОВСКИЕ
НОВОСТИ**

№ 611379)
11 октября
1987 г.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
ЦЕНА
10 коп.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА СОЮЗ СОВЕТСКИХ ОБЩЕСТВ ДРУЖБЫ И КУЛЬТУРНОЙ СВЯЗИ С ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ И АГЕНТСТВА ПЕЧАТИ НОВОСТЕЙ

Выходит с 1930 года • Издается на пяти языках • Распространяется в 140 странах

СВОБОДА? ЗАЧЕМ? ДЛЯ КОГО?

На протяжении полувека советское общество напоминало дом с заколоченными дверьми и закрытыми окнами. Среди всех "дефицитов" советского общества самым продолжительным и самым ощутимым был дефицит информации. Те, кто пытался способствовать ликвидации этого дефицита, подвергались неумолимому, почти маниакальному преследованию как опасные преступники.

За советским обществом по праву закрепилась кличка "закрытое". И вот советское общество стало "открываться". Никто не знает, как далеко оно в этом отношении пойдет, но совершенно очевидно, что за год-полтора оно "приоткрылось" весьма заметно.

Свидетельств этому достаточно. Резко изменился стиль телевизионных новостей. Публикуются материалы опросов общественного мнения, "неудобные" для властей. То же происходит и со статистическими сведениями. В прессе упоминаются все чаще разного рода диссиденты. Резко расширилось обсуждение социальных патологий. В открытую печать попадают литературные произведения, циркулировавшие раньше только подпольно. Появились сочувственные высказывания о религии. И так далее.

Заинтересованные лица задаются вопросом: означает ли это либерализацию советского общества?

Я не думаю, что это означает "либерализацию" в смысле сознательного движения советского общества к классическому "либералистскому" идеалу. Тем не менее, налицо явное движение в сторону большей терпимости. Это — уступка.

Очевидно, что по этому вопросу было принято стратегическое решение. А раз так, то это решение должно было быть как-то обосновано, *рационализировано*. Каковы же могли быть "рациональные" соображения властей?

Во-первых, можно считать, что власть сейчас гораздо больше озабочена тем, как она выглядит в глазах подчиненных, чем раньше. Она даже усвоила, что ей следует изменить свой облик. Если раньше она была убеждена, что должна выглядеть прежде всего "сильной" и "неумолимой", то теперь она, вероятно, отдает себе отчет, что такой облик скорее нагнетает напряжение в обществе, чем запугивает и дисциплинирует население.

Далее, в исходной фазе своей истории советская власть не отдавала себе отчета, что между ней и подданными (за исключением "классовых врагов" по определению, которые легко выявлялись и "исключались из игры") существуют какие-то противоречия. Можно думать, что она не знала об этом еще лет 30 назад, будучи сама первой жертвой мифа об "органическом обществе", который она культивировала и в который сама верила. Но теперь, после опыта Венгрии, Чехословакии и Польши верховная власть как будто должна понимать, что противоречия между ней и подданными есть нечто объективное и естественное. Их нельзя устранить, а нужно ежедневно улаживать.

Для этого власти необходимо знать, что в действительности думают ее подданные и чего они хотят. Раньше этим вопросом занимались тайные осведомители (КГБ). Этот институт возник, когда власти нужно было знать мысли подданных с единственной целью — устранить тех, кто мыслит непопозволенным образом. Естественно, что к этому институту отошла задача предварительного сбора информации, когда она возникла. С этой миссией, однако, КГБ как своего рода "институт исследования общественного мнения" не справился.

Рано или поздно, социологические лаборатории, обслуживающие власть (включая те, которые, как можно предполагать, работали в контакте с КГБ), должны были понять, что с точки зрения управления обществом технически рациональнее дать людям возможность говорить вслух то, что они действительно думают, и обсуждать то, что они все равно "подпольно" обсуждают, и не рассматривать выражение недовольства как враждебную пропаганду и клевету.

Все это — старая "бытовая мудрость", и удивительно не то,

что власти советского общества, кажется, наконец-то решили взять ее на вооружение; в объяснениях, наоборот, нуждается тот факт, что они этого не сделали раньше. И тут возможны самые разные толкования, которые нас сейчас не интересуют.

Другая и, на мой взгляд, более интересная сторона дела заключается в том, что увеличение свободы в культурно-информационной области, иначе говоря, расширение производства и потребления "духовной продукции" — бестелесных, символических благ — может рассматриваться как один из положительных стимулов, наряду с материальным поощрением, в общей стратегии оживления трудового энтузиазма советских людей.

Здесь возможны некоторые недоумения. Сравнительно нетрудно представить себе, что "трудящиеся массы" будут, скажем, лучше работать, если их обеспечат должным количеством рок-музыки. Труднее понять, каким образом могут стать стимуляторами проза Набокова, стихи Цветаевой или Гумилева.

Тут следует принять во внимание особенности "потребительского стиля" советского общества.

Дело в том, что советское общество — это общество средних слоев по существу. Образцом потребительского стиля для советских средних слоев является "интеллигенция". Чтобы удовлетворить свою потребность в самоуважении, советская интеллигенция всегда настаивала на высоком статусе "духовности", тем самым поднимая чрезвычайно высоко престижность демонстративного потребления "бестелесных благ". В особенности престижно приобщение к тем продуктам художественного творчества, которые труднодоступны и пользуются репутацией "запрещенности". Из-за того, что долгие годы культурный рынок регулировался системой жестких запретов, сейчас в советском обществе имеются огромные ресурсы "культтоваров" с очень высоким престижным потенциалом.

Я рискую утверждать, что "либерализация" культурного рынка должна удовлетворить не интеллектуальный, а престижный голод средних слоев.

Таким образом, в терминах экономики обслуживания происходящее в Советском Союзе есть не что иное как улучшение обслуживания населения культтоварами.

Вот что, как мне кажется, можно сказать о "рациональных соображениях", лежащих в основе новой культурной политики в СССР. Однако, их рациональность сама по себе не объяс-

няет, почему было решено проводить новую политику в области культуры. Чтобы решения были приняты, вовсе недостаточно, чтобы они были рациональными. Даже если они отвечают интересам тех, кто их принимает, и даже если те, кто принимает решения, отдают себе в этом отчет. Все политические решения принимаются под давлением кого-то, кто подсказывает властям "рациональные соображения", думая при этом о собственных интересах.

В данном случае власти, я думаю, испытывали все возрастающее давление со стороны монопольных профессиональных групп, занятых производством информации и "культуртоваров". Эти группы, будучи цехами или корпорациями, заинтересованы в двух вещах.

Во-первых, в расширении номенклатуры продукции, увеличении числа рабочих мест, в увеличении инвестиций в области культуры и в росте своего "социального капитала" — общественного престижа. Они ведут себя точно так же, как их гораздо более мощный собрат — военно-промышленный комплекс: они хотят себе больше.

Организованная в профессиональные цехи верхушка советской интеллигенции ("культур-буржуазия") как производитель "культуртоваров" заинтересована в возможно большей мобилизации культурного наследия и "устной традиции", где циркулируют популярные темы и идеи, популярно-престижные языковые клише.

Эту заинтересованность можно вывести из простой тенденции любой организации к росту, о чем я уже говорил. Но у нее есть и другой корень.

Дело в том, что монопольное положение легальных профессиональных групп в сфере культуры за последние 15 лет пошатнулось. "Самиздат", "Тамиздат" и эксплуатирующая их устная традиция фактически оказались близки к тому, чтобы создать альтернативную культуру (в сущности, альтернативный культурный рынок), во всяком случае, нечто большее, чем маргинальную субкультуру.

В середине 70-х годов в среде столичной интеллигенции авторитет этой культуры стоял уже очень высоко. И для многих крупных деятелей официальной культуры всерьез встал вопрос: а не лучше ли перейти на позиции альтернативной культуры, коль скоро это обеспечивало более высокий престиж в

глазах отчужденной столичной интеллигенции, на которую в первую очередь ориентируются деятели культуры, поскольку это — их социальная среда. Так возникла полудиссидентская периферия истеблишмента, представителей которой так много в эмиграции. Эта периферия, однако, отнюдь не была явлением периферийного значения.

Разумеется, возникшая периферия была заинтересована скорее в легализации альтернативной культуры, чем в том, чтобы окончательно порвать с официальным истеблишментом. Положение представителей периферии было нелегким. На самом деле, когда возникает расхождение между "положением" и "престижем", сделать выбор в пользу одной из этих двух "ценностей" весьма трудно. С точки зрения того, кто решает эту проблему, естественнее и рациональнее всего попытаться уничтожить возникшее расхождение между двумя статусными элементами. Нормальный способ сделать это — "перехватить инициативу" и уговорить власти включить "культтовары", циркулирующие в рамках альтернативной культуры, в культуру разрешенную.

Таковы, мне кажется, мотивы профессиональных монопольных групп, производящих культуру. Мотивы эти оказались весьма сильны, и соответственно оказалось достаточно сильным их давление на круги, где формально проектируется культурная политика.

Два обстоятельства усилили "эффект давления". Во-первых, официальная пропаганда (внушение определенной системы ценностей, легитимизация общественного строя и власти) чрезвычайно зависит от сферы производства "культтоваров". В советском обществе власть сознательно использует искусство как инструмент пропаганды. Поэтому она и сознает свою зависимость от соответствующих профессиональных корпораций. В результате политические позиции производителей культуры на политических торгах в советском обществе оказываются значительно сильнее, чем на Западе, и чем политические позиции других функциональных групп в советском обществе (кроме, разве что, военных).

Во-вторых, удовлетворение спроса на "культтовары", ликвидация "дефицита" в этой области, по-видимому, оказывается сейчас организационно проще и экономически дешевле, чем ликвидация дефицита в других сферах потребления. Прежде всего потому, что "культурное наследие" — крайне доступное

и дешевое сырье, и его превращение в "символические товары" не требует ни сложной технологии, ни больших расходов на подготовку рабочей силы.

* * *

Интерпретировать происходящее в советском обществе можно по-разному. Наиболее привычными были бы два варианта, связанные с концепцией советского общества как тоталитарного. Пользуясь терминологией Герберта Маркузе, можно было бы назвать культурную либерализацию в СССР "репрессивной десублимацией": власть ведет себя, как манипулятор, сознательно направляющий энергию масс по безопасным для себя каналам (точнее, в направлении, которое власть почему-либо в данный момент считает менее опасным, чем другие).

Можно также предполагать "подкуп" производителей культуры в расчете на их более эффективное участие в манипулировании массами.

Если эти интерпретации верны вообще, то они релевантны исключительно в политическом контексте.

Мне, однако, хотелось подчеркнуть другую сторону дела, которая обычно ускользает от внимания тех, кто рассматривает историю советского общества только как цепь политических решений, принимаемых властями. В рамках этого подхода политические решения властей определяются исключительно их волей. Как будто в советском обществе нет различных социальных сил, групп интересов и борьбы между ними за положение в обществе, престиж и участие в принятии решений (если и не за долю в доходах).

То, что происходит теперь в советском обществе, это — перераспределение "социального капитала", то есть престижа, в пользу профессиональных групп, занятых производством культуры. Это серьезный сдвиг. Он назревал давно. Его историческое значение сейчас оценить трудно. Тому, кто, однако, рискнет это сделать, следует иметь в виду: "индустрия культуры" — самая перспективная сфера производства и потребления в индустриальном (пост-индустриальном, если угодно) обществе. Отношения между людьми в сфере культуры постепенно перемещаются в центр всей системы общественных отношений.



Лев Ракитин

ТРАМВАЙ МОЙ — ПОЛЕ

- Веруля? Ну что же ты?
- Что же я?
- Ты храпишь.
- Храплю? Вот стерва какая! А я-то думала, не сплю...

Вы смешной человек, Павел Никанорович. Вы просите рассказать об отце и в то же время пытаетесь навязать мне свое знание отца — явную липу, которая ни в какие ворота, которая... которая...

Я не понимаю Вас, Павел Никанорович. Вы просите рассказать об отце, но при этом становитесь в позу человека, которому все самому доподлинно известно. Если это так, если Вы действительно знаете о нем лучше и больше меня, то не будет ли умнее с моей стороны отнестись к Вашим вопросам соответственно. То есть, как к вопросам чисто риторического свойства...

- Веруля?.. Вер?..
- Ну что?
- Ты была в форме тогда?.. Веруль?..
- Ну что?
- Ты была в форме?
- В какой форме?
- Ну, в школьной.
- Когда?
- Не хочешь говорить об этом?.. Вер... Вер...
- Ну что ты? Спи, я уже все забыла.
- Сколько тебе было лет?
- Не помню. Четырнадцать. Может, шестнадцать.
- Ты из окна их видела?
- Кого?

- Собак.
- Из окна.
- Ну, расскажи.
- Ну, что рассказывать? Была девчонкой, увидела собак за этим делом, внутри все оборвалось.
- Ну?
- Что "ну"?
- И все?
- Что же еще?..

Что же еще, Павел Никанорович?.. Пиши — не пиши, Вы все равно стоите на своем и, видимо, будете стоять так до скончания века. Да оно и понятно. Когда же и быть легендам, как не в наше с вами легендарное время? Где же нам еще славы черпать, как не в ней, легендушке, святой душеньке? Сеятельнице вечного, доброго, светлого?

Все это так. Все это понятно.

Непонятно только, как удалось отцу моего заграбастать в клешни этой высокоявленной, высокодуховной потаскушки. В клешни высокого вранья, сработанного несколькими чрезмерными патриотами, на которое клюнули Вы, как впрочем, и весь окружающий Вас культурный мир.

Я не знаю, Павел Никанорович, стоит ли при этих обстоятельствах еще о чем-то говорить и что-то доказывать. Политика, она ведь, как ни крути, а все же помойка. И ввязываться в нее у меня никакой охоты нет.

Было бы легко, если б речь шла об искажении некоторых черт, о неточности тех или иных фактов его жизни. Но это, судя по всему, не тот случай. Вы взяли имя моего отца (простите, я не имею в виду Вас лично) и присобачили его к некоторому образу борца и страдальца, который не только не имеет ничего общего с моим отцом, но и вообще мало похож на живого человека. Кстати говоря, наши вожди там по такому же шаблону творят своих ударников, людей передового фронта.

Вы спрашиваете, насколько рассказ "Мария и Иисусик" биографичен. А бог его знает. Должно быть, намного. Игра и выдумка — свойство писателей молодых и в хорошем смысле беспечных. Я, к сожалению, этим свойством похвастаться не могу, хотя чрезвычайно ценю его в других. И конечно же, понимаю, что мера биографичности никак не определяет ценности письма. Ни моего, ни чьего-либо другого.

Тем не менее, образ отца в "Марии", вызвавший столь энергичное слюноиспускание у идолопоклонников из "Новой нивы", совершенно достоверен, и я не намерен обставлять дело так, что вот, мол, у меня здесь выдумка, творческая фантазия или нечто в этом роде.

И вообще, если говорить об адекватности правде применительно к "Марии", то речь должна идти не о выдумке, а совсем о другом, о том, что я намеренно опустил, о некоторой не-

полноте, умолчании, что ли. Причем, умолчании, вызванном причинами не только творческого плана.

В одних случаях мешала натура. Моя обыкновенная, самая что ни на есть примитивная стыдливость, о которой и упоминать-то неловко, но что поделаешь. При всем моем вольномыслии и преклонении перед свободным творчеством, табу на грязь я считаю его прерогативой.

В других случаях не хотелось идти на обострение темы, разжигать страсти там, где они и без меня уже давно и хорошо пылают.

Я имею в виду еврейство. Ведь моя Мария — это по существу Бузя, чистокровная еврейка. А мой отец, если и страдал чем-то, то совершенно непредсказуемыми спонтанными приступами антисемитизма, которые и его самого изрядно изматывали, и нас всех.

Мне тяжело писать об этом, но именно здесь следует искать мотивы убийства, а не только в том, что он мстил за меня, как это выглядит в рассказе.

Вообще говоря, этот ход в рассказе возник как бы помимо моей воли. За сына мстящий отец — это красиво. И не желая отяжелять сюжет, я пошел на эту несколько стандартную красоту. На самом же деле, у отца были и другие основания для мести. Я помню, как во время ссор и скандалов между ним и матерью, у матери вырывалось нечто вроде того, что он в свое время приставал к Бузе с любовью, и та его "хорошенько отшила". Эту же тему мусолили и наши дворовые сплетницы.

Не знаю, сразу ли, постепенно ли сложилась легенда об отце в том виде, в каком я застал ее здесь на Западе, однако образ отца — мученика совести, невинной жертвы режима, священника — все это так же дешево и нелепо, как любая другая оптимистическая ложь.

Действительно, отец был необыкновенно верующим человеком. По крайней мере, он никогда не пропускал возможности это подчеркнуть, выпятить. Правда и то, что он был спесивым математиком, а когда ходил в туалет, непременно брал с собой вырезку из газеты с портретом Сталина. Благо они всегда, эти портреты, были под рукой.

В этом его пристрастии можно, конечно, допустить определенную отвагу, ибо туалет находился не в квартире, а во дворе. Один на всех жильцов нашего дома. И всего с двумя кабинками. И мы, пацаны, находясь в одной кабинке, часто подглядывали в щели за тем, что делалось в соседней, в особенности если там находились женщины. Случалось, что подглядывание это носило невинный характер, так как доски в перегородке нередко бывали выломанными.

Нетрудно себе, конечно, представить, что случилось бы с отцом, если б кто-нибудь заметил, как он подтирается портретом вождя.

Отвага? Может быть. И все же, если говорить о его поли-

тической (антисоветской) активности, то ни на что большее он никогда не решался. Да, видимо, и не помышлял об этом в силу определенных своих качеств. И с преподавательской работы (он преподавал сопронат в техникуме — Вы это знаете) его выгнали по причине, весьма далекой от той, на которой настаивают наши правдоискатели.

Листая зарубежную периодику тех лет, я наткнулся на статью об отце, в которой на полном серьезе утверждалось, будто увольнению предшествовали многолетние гонения на него "за религиозные убеждения". Несмотря на пафос, статья выдавала абсолютное авторское невежество в вопросах советского жития-бытия.

Верующий преподаватель и многолетние гонения — это нонсенс. Верующих убирают сразу. Именно это и случилось с отцом.

Однако поплатился он не за веру как таковую. Она привязалась к делу попутно, вернее формально. Вернее — некоторой реальностью, которая, родив прецедент, сама оставалась до поры в тени.

Красиво, Костик, очень красиво. Все, довольно, никаких писем. Спи. Ты мудака, Костя. И Павел Никанорович твой мудака. И весь мир — мудака. Заткнись и спи. Никогда ты этого письма не напишешь, тем более — не отошлешь.

Кто бы ни был твой отец... кто бы ни был. Не тебе о нем судить. Заткнись и спи. Заткнись и спи. Все — сплю. Сплюнь. Там писали — здесь пишем. Пишем... пишем...

Русскую интеллигенцию хлебом не корми — дай письма пописать. Кто сказал? Блок. Да, Блок. Ну и что? Спи. Спи. Сплю...

Ни хрена, Павел Никанорыч, я Вам не напишу и никак не отвечу. Ни словом, ни полсловом. Два урода на одну семью — дудки. Дюже много.

Сплю... сплю... сп...

Она называла его Иисусиком и обращалась с ним, как с ребенком. Первое еще куда ни шло — называй чем хочешь, а второе казалось обидным. Он уже втайне от родителей покуривал и, вообще, считал себя взрослым. Вместе с тем, будучи низкорослым и тощим от природы, он понимал, что сильно обижаться не стоит, так как она, Бузя, почти вдвое старше его.

Некрасивая и высокая, с мужем-извозчиком и двумя вечно соплявыми детьми — дочери четыре, сыну три, — она жила в маленьком флигеле, в самом углу двора, на самой верхотуре.

Все во дворе принимали ее за свою, так как она доставала всякие вещи и продавала по недорогой цене, а порой еще и в рассрочку. Одежду, мыло, простыни, полотенца, сливочное масло — все, чего в магазинах либо не было совсем, либо было в ограниченном количестве.

Он любил проводить у нее вечера. В крохотной кухоньке, где только стол умещался и печь, и табуретка — и больше ничего.

К тому времени, когда он заходил, муж и дети уже спали и на кухне оставалась она одна. Из кастрюль валил пар, он усаживался на табуретке, упираясь острыми коленями в ее упругую ляжку, и наблюдал, с каким проворством и легкостью она раскатывает тесто и лепит пирожки. И было тепло и уютно, и дома никто не ждал.

Мать лежала в больнице, а отец работал во вторую смену. Он работал санитаром в той же больнице, где уже вторую неделю с мокрым плевритом лежала мать.

— Ну, как мать, поправляется? — спрашивала Бузя и поддвигала к нему тарелку с пышными, искрящимися жиром пирожками.

Он с удовольствием уминал пирожки и ловил момент, когда Бузя поворачивалась к плите, чтобы хлопнуть ее по заду.

— Одерни, — требовала она, кокетничая, — и так никто не любит.

— А я?

У Бузи были крупные белые груди. Ему нравилось мять их, гладить, укладывать в ладонь, как в чашу. Бузя сама разрешала. Поначалу бывало, правда, злилась, форсу подпускала. Потом утихомирилась. А утихомирившись, сама растегивала кофту, сдвигала книзу сероватый, с желтыми прогалинами лифчик, и два шара густой мягкой плоти выкатывались из-под него, как две волны. Он подставлял ладонь, обе ладони, словно они могли пролиться или растаять. А когда сжимал их, Бузя хватала его за чуб и больно кусала в губы.

Выходя, он обычно задерживался в сенцах, сквозь стеклянную дверь внимательно проглядывал длиннющий деревянный балкон, и если никого не было, решался прошмыгнуть вниз. Однажды едва он выскочил из ее флигелька, ему кто-то подставил ножку и он упал. Поднявшись, увидел Витьку Малого.

— Что же ты, падло, делаешь? Я же мог скандыбиться со всех лестниц.

Видишь ли, Розалия, я не знаю, в каких ты отношениях с профессором Маккомбом, но думаю, что с информацией, которую поставляет ему твоя феноменальная память, он мог бы легко обойтись и без меня. Не знаю, зачем тебе нужно разжигать в нем интерес именно к моим свидетельствам. Я уже получил от него несколько писем с просьбой подтвердить или прояснить различные детали и обстоятельства из жизни отца, причем от письма к письму видно, как его осведомленность набухает нездоровой нетерпимостью, затаенной страстью к дешевому скандалу.

Я не берусь судить его, тем более тебя. Это твое право,

твоя боль. И поэтому хотел бы и с твоей стороны ожидать такого же понимания. Твое знание дела несколько не скуднее моего, но ты почему-то пытаешься меня выставить в качестве основного разоблачительного козыря. Тебе мало того, что я не мешаю, — тебе надо, чтобы я был еще и соучастником. И не просто соучастником, а главным участником, первой, так сказать, скрипкой.

Я не знаю больше того, что я сказал в "Марии и Иисусике". И если эта публикация вызвала такой бурный поток всеобщего негодования, то, наверно, не потому, что в ней что-то непонятно, недоговорено, скрыто, а как раз наоборот.

Но тебе и этого показалось мало. Тебя возмущает, что в рассказе не совсем понятно, кто убил Марию, или будем говорить — твою мать.

А ведь я и не знаю. В том-то и дело, что не знаю. Может быть, отец. Я допускаю, что он. Обстоятельства сходятся на нем. Но последней уверенности у меня нет. Ведь при этом меня не было. Ведь как раз в это время я убежал, скрывался. И все, что произошло в мое отсутствие, знаю с чужих слов. Как, в общем, и ты.

— Что же ты, падло, делаешь? Я же мог скандыбиться со всех лестниц, — хотел сказать Иисусик, но не сказал.

Витька Малый был сильнее его. Раза в два шире в плечах и года на три постарше. Кроме того, не хотелось затевать шума. Его падение на деревянный настил балкона и так уже громынуло на весь двор.

Преодолевая боль в коленях, колюче-режущий жар в ладонках (видно, все-таки кожу содрал, дома посмотрит), он подошел к Малому, с простецкой небрежностью хлопнул его по плечу:

— Ну что, рад?

— Мне-то чего радоваться? — оскалился Малый, мотнул головой в сторону бузиных дверей и мизерно хихикнул.

Он жил в парадном напротив, так что делать ему здесь было нечего, а раз здесь околачивался — значит шпионил.

— Что, в шпионы записался?

— Не в шпионы, а в разведчики. Слабо?

— Еще бы.

— Ну как?

— В белой сраци — черный мрак.

— Дала?

— Какой же ты разведчик, если сам не знаешь!

Они спустились в квартиру дяди Мити, тут же под лестницей. Дядя Митя сидел под окном у своего сапожного верстака и протягивал дратву сквозь мыло. Неужели Малый начнет подначивать при дяде Мите?

Закончив мылить дратву, дядя Митя достал железную лопу, зажал ее между ног и насадил на нее ботинок. В губах он

держал дымящийся огрызок самокрутки, совершенно черный от расплывшейся типографской краски и почти насквозь мокрый. Дым от окурка тонкой струйкой подымался кверху строго по вертикали, заползал в глаз. Дядя Митя то и дело перебрасывал окурочек из одного угла рта в другой, давая таким образом отдых то одному глазу, то другому.

— Что же молчите, полуношники? — спросил он и загасил окурочек, вонзив его в край верстака.

Потрепалась маленько о разном. Дядя Митя сообщил, что его сына Толябу приняли в ремесленное, а Динка, дочка его, — сука, ложится с кем попало.

— А слабо? — протянул Малый. — Я был бы бабой, так тоже бы всем давал.

— Да? — опешил дядя Митя.

— А чего же?

Дядя Митя просунул дратву в ушко шила, поднял глаза на Малого и, не зная, что сказать, смачно выругался и сплюнул. Потом всадил шило в подошву, вытянул дратву с другой стороны и тяжелым черным пальцем удовлетворенно пробежался по лунке шва. Потом остановил палец, снова поднял глаза на Малого:

— Знаешь что, Витька, ты с такими разговорами лучше не приходи.

— Да будет вам, дядя Мить. Он же пошутил. Разве не видно? — вступился за Малого Костя, сам не зная почему.

То ли пожалел, то ли тон дяди Мити показался ему не совсем справедливым (ведь если был он с ними, пацанами, на равных, то пусть уж до конца, то ли где-то был согласен с Малым и даже восхищен его смелостью так открыто об этом заявить).

— А чего шутить? — гордо огрызнулся Малый, огрызнувшись с таким напором, что на его бычьей шее проступили жилы.

Но дядя Митя уже снова ушел в свое шитье и не ответил. А Костя, перехватив ненароком взгляд Малого, почувствовал вдруг брезгливость и страх. И чего это он так непрошенно вступился за Малого, в особенности сегодня, когда тот явно за ним шпионил? Неужели боится? В этом было что-то гадкое и липкое. "Трус, жополизник, — говорил он о себе в сердцах. И чего это я лебежу перед ним? Говно он — и все. И сам кому хочешь глотку перегрызет".

Малый оторвал кусок газеты, поделил его пополам, себе и Косте, и насыпал махорки. Они закрутили по самокрутке, закурили. Малый отдал свою дяде Мите, а себе стал закручивать новую.

— Ага, подлизываешься, сукин сын, — тепло пробурчал дядя Митя и добавил: — Нехорошо, братцы, мы живем. Один срам. Да.

Проворно и покорно прыгало в его руках шило, извивалась дратва, затягивались петли. Капля по капле падала из про-

худившегося крана вода и гулко отдавалась в эмалированной, с ржавыми выбоинами, раковине.

— Где стоим, там и ссым. Нехорошо. Не по-людски, — закончил свою мысль дядя Митя после продолжительной паузы, а Костя невольно вспомнил, как однажды утром он зашел к нему и застал его писающим в эту самую раковину.

Смешно. Костя уже готов был сказать об этом вслух, но вовремя спохватился. И хорошо, что спохватился, иначе вышло бы подло. Вышло бы, что он снова подыгрывает Малому (ну не гнида ли ты, Костик?), да и над дядей Митей нечего ржать. А Малый, уж будь здоров, наржался бы вдоволь.

В это время появилась Клавка — мать Малого. Такая же сбита, как и он, модная, в свежей завивке, заносчивая и тертая. Она работала буфетчицей в Мореходном училище, знала по имени всех капитанов заграничавания и имела в жизни одну цель: выучить на капитана загранички своего балбеса-сына, то есть Малого. Ясное дело, о мореходке тогда мечтали все, поэтому относились к Клавке с почтением и надеждой. Авось, все ж таки, поможет...

Она приоткрыла дверь и потребовала, чтобы Малый немедленно шел домой.

— Не пойду.

— Пойдешь.

— Не пойду!

— Посмотрим!

Она рванулась к нему с распростертыми руками, намереваясь схватить за чуб и потащить. Но он легко перехватил ее руку, поймал на лету другую и, держа ее за запястья, стал неожиданно нежным и доверчивым пай-мальчиком.

— Ну мам, ну что ты? Я же сказал, иду. Я же сказал, еще полчаса. Хорошо? — уговаривал он ее смеясь, с какой-то дурашливой покорностью.

— Ах ты, подлюга! Ну как же тебе не стыдно? Ну как же не стыдно? Ты же знаешь, чуть свет я уже на ногах, а ты что? По два года в каждом классе сидишь и в ус не дуешь?.. Пусты руки. Только бы шляться. Двоечник! Паразит! Ни ума, ни совести. Пусты руки, говорю!

— И знаете, что самое ужасное? — вставил слово дядя Митя. — Они нынче все такие. Да, да представьте себе. Наши дети нынче никуда не годятся. Это уж будьте уверочки...

Во время этого глубокомысленного обобщения мать Малого высвободила, наконец, свои руки и резко повернулась к дяде Мите.

А вы, Митя, тоже хороши. Собираете их тут у себя. Курите, пьянствуете! Черт знает что делаете! Бардак какой-то развели!

— Ма!..

— Вы же видите, что родители против. Почему же не разогнать их к чертям собачьим? Не выгнать?

— Ма-а!..

— Что "ма"? Не правду я говорю?

— Не правду, — сказал дядя Митя. — Никакого бардака здесь никто не разводит. А насчет выгнать, то, уверяю вас, по-ложительно с вами согласен. Но как? Как, скажите, живого человека из дому выгнать? Вы бы выгнали? Ведь мы же люди...

— Ах оставьте, Митя, свои философии. Надоело слушать. А ты, Витька, учти. Через полчаса не заявишься — запрю на замок, и вообще ты у меня никуда выходить не будешь. Усек? Она ушла.

Дядя Митя закончил работу, снял фартук, аккуратно покрыл им верстак и начал мыть руки. Он был в одной майке, и на его рыхлом теле, между основанием шеи и плечом, как раз под лямкой майки, была видна глубокая продолговатая впадина, словно кто-то всосал кожу изнутри, — след от извлеченной после войны пули. Все пацаны в доме видели восемь других таких же следов на его теле. Особенно глубокий, сине-бордовый, был на левом боку, на ребрах. Это попал сюда осколок. Осколок был, видно, изрядный, и, пробив легкое, сделал дядю Митю туберкулезником на всю жизнь.

Несмотря на это, дядя Митя пил и курил по-черному и вообще, как говорила Бузя, был открыт навстречу всем ветрам. И, никогда не находя общего языка со взрослыми, был свойски прост и дружен с пацанами. К нему можно было прийти в любое время дня и ночи, так что его сырая квартирка под лестницей, с глиняным полом и одним окном, была вроде штаба для них.

Плеснув на руки керосину, он поскреб их ногтями, намылил хорошенько, а после того, как вымыл и вытер, смазал еще тщательно вазелином. И убедившись, наконец, что с руками все в порядке, достал краюху хлеба, луковицу, уселся на табурете у плиты и стал молча есть, будто ни Кости, ни Малого при этом не было.

Обиделся, что ли?..

Однако сухой хлеб, вероятно, плохо лез в глотку. Он достал бутылку самогону и граненый стаканчик. Налил. Поднес к губам, но не выпил, а достал другой такой же стаканчик, тоже наполнил его и поднес Косте.

— А мне? — сказал Малый.

— А ты домой иди.

— Ну вот еще.

Малый сам взял себе такой же стаканчик с полки и сам наполнил его самогоном.

Из дальнейшего Костя мало что помнит.

Уже после первого стаканчика стены в его глазах начали слегка крениться в разные стороны, потом то же самое начало происходить с полом. И он старался не смотреть на стены и не опускать глаза в пол, а смотреть прямо на лица — дяди Мити или Малого. Смотреть на лица было как-то легче.

Дядя Митя тоже вскорости повеселел. Не сразу, но вскорости. Сначала стал красным, как рак, а потом повеселел. И все допытывался у Кости, читал ли тот "Азбуку коммунизма", книгу, которую нигде теперь не сыскать, потому что ее склевали летучие мыши.

— Какие еще летучие мыши? Которые летают?

— Ты что, Костик?.. Ты что?!

Когда пришла Динка, дядя Митя хотел ее поцеловать, но она оттолкнула его:

— Пора, ребята, домой. Поздно.

Двор уже спал. Ни одного светящегося окна. Только звезды на покосившемся небе, да тусклая лампочка над подъездом.

— Что, салажонок, захмелел маленько? — спросил Малый.

— От салажонка слышу.

— Ну ты брось, я ведь по-доброму.

Они подошли к уборной, помочились прямо у входа, над решеткой от помойного слива. Малый придерживал ногой дверь, чтобы не захлопнулась, так как в уборной не было лампочки.

— Суки, — сказал Костя, — снова кто-то лампочку спер, отец только вчера повесил.

— А слабо поймать?

— Кого?

— Вора.

— Ну да?

— А слабо? Ну?.. Что даешь?

— За что?

— За то, что скажу тебе, кто лампочки ворует.

— Ну?

— За "ну" только кобылы пляшут. Да и то не все.

— Ладно, не юли. Чего хочешь? — сказал Костя и направился прочь. Но Малый пошел за ним, ухватил за плечо, остановил:

— А ты подумай.

— Ну хорошо, подумаю, — сказал Костя, чтобы отвязаться. Его уже изрядно мutilо, ныло колено, жгла ладонь.

— Бузю?! — выпалил, наконец, Малый..

— Что, Бузю? — не понял сразу Костя.

— Бузю даешь?..

— Как это?

— А так. Я — тебе, ты — мне. Идет?

Костя молчал. Он уже все понял. И все равно молчал. Он не знал, что ответить. А Малый продолжал давить:

— Не хочешь? Ну что ж... Не хочешь — так не хочешь. Я думал, тебе все ж охота будет отцу помочь. А ты, оказывается, салажонок и есть. А я-то думал... Ты хоть знаешь, сколько он на лампочки эти тратит? Сказать? То-то же..

Костя подумал вдруг, что, кроме Малого, воровать лампочки, по сути, некому.

— Ну ладно, отцу ты помогать не хочешь. И не надо. Пусть ему тимуровцы помогают. А как насчет себя?.. Слабо?

— ?!

— Мореходка!

— За Бузю?

— А то не стоит?.. Ты Логинова видел? В субботу с матерью к нам приходил. Видел? Усатый, с кортиком. Мой будущий пахан. Не веришь? Во! Ты думаешь, кто он? Замполит всего училища. Слабо?.. Ему только пальцем шевельнуть...

— Что же он за тебя еще не шевельнул?

— А это мы будем посмотреть. Ну что, идет?.. Идет? — Малый протянул руку. — По рукам?..

— По рукам, — решил схитрить и заодно подразнить его Костя. — По рукам. Только... только сперва мореходка, а потом Бузя.

— Ну, ты скажешь! Ну хохмач!..

Костю прошибла испарина. Он понял, что хитрость не удалась. Он попросту просчитался.

— Да нет же, ты не понял меня, — сделал он вялую попытку пойти на попятную. — Ты не понял меня. Я не шучу... Сперва мореходка, потом... потом...

Малый молча смотрел на него и стервозно лыбился. Затем поднес кулак к его носу и прошипел:

— На-кось выкуси!

И едва их глаза встретились, как Малый совершенно неожиданно, в одно мгновение, смахнул с лица злобу и расхохотался. И тут же обнял Костю за плечи и дружелюбно, как ни в чем не бывало, повел его к Костиной калитке.

— А что, дрейфанул? Слабо, а? Признайся. Дрейфанул?.. Ну разве корешей обижают. Ты же кореш мне. Так? — Так. Ну так я тебя как кореша прошу... без всяких покупок прошу... Уступи мне Бузю. А?.. Или помоги и мне ее как-нибудь... Мне ведь восемнадцать скоро стукнет, а я все с вами, салажатами... Я просто ростом не вышел, а пушка, если хочешь знать, с этим не считается... Особенно по ночам, когда слышу, как маменьку мою капитаны шуруют... Думаешь, легко? Я и колы из-за этого хватаю. Ничего в башку не лезет...

Долго еще молил и упрашивал Костю Малый. И Костя, уже было отрезвев во время затейного Малым торга, вновь почувствовал тошноту и головокружение. Он с трудом дотаскился до постели, но перед тем, как отключиться, с острым отвращением к себе вспомнил о том, что под конец он все же сжалился над Малым, пообещал ему.

И еще он подумал о том, что противен самому себе не потому, что сжалился и не потому, что пообещал, а потому, что дал обвести себя скотине. Потому что поддался торгу. Потому что струсил.

И уже совсем засыпая, под толщей тошноты: ничем он не лучше Малого. Малый, хоть и скользкий гаденыш, но все же

честный. Во-первых, у дяди Мити не выдал его, ни разу за весь вечер насчет Бузи не съехидничал. Во-вторых, всю душу перед ним выложил и не обманом взял, а мольбой.

— Ты их из окна видела?

— Кого?

— Собак.

— Из окна.

— Ну расскажи.

— Ну что рассказывать? Была девчонкой, увидела собак за этим делом, внутри все оборвалось.

Он проснулся от страшной боли в ухе и крика. Это отец, ухватив его спящего за ухо, тащил на кухню:

— Негодник! Негодник ничтожный! — кричал отец. — Иди! Иди полюбуйся! Полюбуйся, что ты наделал! Пьянь ореховая! Антихрист! Урод!

Он перебросил руку с уха на затылок и стал давить его книзу.

— Ну что, нравится?! Нравится, негодник?! Пес неблагодарный! Пес! Пес!

И Костя увидел растекающуюся лужу блевотины. И вспомнил. Вспомнил, как ночью ему сделалось совсем худо, как он встал и его рвало. Но он был уверен, что успел добежать до ведра.

Лужа набегала на глаза все ближе и ближе. И наконец, он захлебнулся.

— Вот так. Вот так. Будешь знать у меня! — хрипел отец. — Будешь знать, негодник! — И, обессилев, отшвырнул Костю в сторону.

Все стихло так же внезапно, как и навалилось.

Отец сидел на кушетке, обхватив голову руками, и тяжело дышал. Костя сидел на полу, распластав ноги, упершись спиной в стенку, отфыркиваясь от вонюче-кислой жижи, лезущей в рот. Нестерпимо горело ухо, горели ладони рук еще после вчерашнего падения. Жгли и душили слезы. Рядом стояло ржаво-коричневое помойное ведро с облеванными кромкой и боком. Оказывается, он все-таки добежал до него ночью, просто в темноте промахнулся.

— Ну вот что, нечего нюни распускать, — сказал отец, не поднимая головы, — убирай.

Костя не пошевелился. Он знал, что рискует обрушить на себя новую вспышку гнева и брани, но не пошевелился. А когда отец встал, лишь больше вдавился в стенку и как-то внутренне ошетинился. Но отец встал не за тем. Он вышел, принес тряпку и сам начал убирать.

Обтерев рукавом лицо, Костя машинально наблюдал за ним и думал о том, что вот, если бы не болела мать и не лежала бы в больнице, он бы теперь непременно ушел от них. А так он

не может. Он не может бросить мать, к тому же еще больную... в больнице... Отец же — человек для него совершенно чужой. И всегда был чужим. И он не испытывает к нему никаких чувств, даже ненависти. Просто чужой и все.

Он видел, как отец собрал сначала все в тряпку, как бросил тряпку в ведро, как вышел, как вернулся с чистой водой и чистой тряпкой, как мыл пол. Видел и не видел. Ему было все равно.

Ухо горело так, будто кто-то поджег его.

Промыв и досуха протерев каждую досточку в отдельности, отец уселся на полу рядом с Костей.

— Ну видишь какой-ты?.. Сначала нагадишь, вызовешь во мне последнее бешенство, а потом еще и прав. Ну скажи, ты прав?.. Прав ты?.. Ведь не маленький уже, слава Богу. Пора уж что-то и самому соображать... Мать так болеет уже сколько времени... я по ночам горб гну... по существу, в двух упряжках сразу... а ты что? Самогон сосешь да у этой, прости Господи, шлюхи пархатой пропадаешь? А?.. Ты же сын мне, в конце концов, или кто?.. Скажи... Скажи...

Костя молчит.

— Скажи же!

Костя молчит.

— Ну, скажешь ты?! Скажешь?!

Костя молчит. И тут все начинается по новой. Отец на полном взводе отвечает ему несколько оплеух подряд.

— Скажешь?!

— Что я должен сказать? Что?

— Что ты сын мой. Да. Мой сын! Понимаешь? А? Ты мой сын, и у меня болит о тебе душа. Понимаешь? И у меня больше никого... понимаешь?.. никого, кроме тебя, нет. Никого! Понимаешь? Понимаешь?!

— Понимаю.

— Видишь, какой ты черт? Какого ты бандита из меня делаешь? А?.. А?!

Он окунул руку в ведро с водой и провел по Костиному лицу, смывая остатки блевотины. Но Костя вывернулся, убежал в комнату и бухнулся в кровать, зарывшись лицом в подушку. Его колотила дрожь.

Он услышала, как просела кровать, как отцова рука вошла в его волосы.

— Ну хорошо, хорошо... Прости меня. Я ведь тоже не из железа. Прости...

— Не надо мне твоего прощения! Не надо! Не надо!.. — кричал Костя, зажимая рот подушкой. — Не надо! Ты всегда так, сначала уничтожишь, потом прощения просишь. Всегда! И со мной, и с мамой!..

Он повернулся на спину, хотел прокричать это прямо отцу в лицо, и осекся. Он увидел, что отец плачет.

Неправда, я никогда не утверждал, что за веру они не увольняют. Я говорил совсем о другом — о том, что такому увольнению не могут предшествовать "долголетние преследования".

Еще раз повторяю: "долголетние преследования" — да, "увольнение за веру" — да, но не то и другое вместе, когда речь идет об учителях.

Отца выгнали из техникума не за то, что он верующий, а за "моральное разложение". Он бил мать. Он избивал меня. Он издевался над нами.

Его выгнали не сразу. Вызывали на всякие месткомы, парткомы, беседовали, предупреждали, грозили.

Мы жили тогда в общежитии, в обыкновенной студенческой комнате, так что мало что можно было скрыть. Скандаль разражалась порой среди ночи. А наутро все могли видеть мать, либо с синяком под глазом, либо с расцеченной или опухшей губой.

Его лишили прав преподавания, и мы остались, по существу, без крова, так как комнату у нас, разумеется, отняли.

Комната была невесть какая. Окно, стол, тахта, на которой спали отец с матерью, проход в полметра шириной между столом и тахтой, ширменная занавеска, за ней моя кровать и помойное ведро. Туалетов на нашем этаже не было, а там, где они были, ими все равно нельзя было пользоваться, часто отключали воду, и они стояли забитыми, замызганными, в говне и моче чуть ли не по колено.

Сколько помню себя — помойные ведра рядом с кроватью. Я вырос с ними, жил с ними, дышал ими. Они — мои братья, мои неразлучные спутники, мои друзья, мои враги, молчаливые свидетели высоких побед и свершений моего народа. Они и теперь со мной, преследуют, будоражат память, лезут в строку. Поэмы бы о них слагать!

Помойные ведра! Помойные ведра!

На ночь помойное ведро, стоявшее у меня за ширмой, выносились к дверям. Все поровну, все справедливо.

Так мы жили. Худо ли, бедно ли, но жили. Теперь мы потеряли и это. Маминой зарплате не хватало даже на еду. Она работала тогда на мыловаренном комбинате и получала гроши. Она могла, правда, выносить иногда мыло и продавать его, как делали другие. Но, во-первых, это было чрезвычайно опасно. Во-вторых, отец бы ни за что не позволил, да и сама она была не той породы. Оба, в этом смысле, были чистоплюями. Жили по горло в грязи, но — ах, ох — совесть!

Совесть... совесть... совесть...

Зверь, которого не обуздать, не ободрать! Дрожанье кофейка в блюдецке в ручках у барина! Светы вы мои, батюшки!.. Ах, что же вы? Что же вы, господа, делаете? Что же вы крестьянину-то оставляете?..

Не могли они. Ни отец не мог, ни мать.

Вообще говоря, многие не могли. Многие были чисто-плюями. Даже заядлые коммунисты. Это только борцам за святое дело все видится в одном цвете. Апологетам — в белом, ниспровергателям — в черном. А жизнь и тем и другим — фигу под нос.

Нам помог тогда парторг Зоренко. И не только помог — спас. Без преувеличений — спас!

Вояка, орденосец, крикун. Сам же голосовал за увольнение, за лишение преподавательских прав. Но нашел отцу место дворника, причем с квартирой, — и таким образом спас. Во всяком случае, для тех, кто помнит наши послевоенные годы, это так звучало.

— Ты не спишь еще?

— Нет.

— Молодец. Как ты на работу утром встанешь?

Ходят, бродят, колобродят облака. Жидкие, лунные. Их нити, их пряди свиваются в причудливые узоры, фигуры, замки, лица. Свиваются и расползаются, текут, растанвают. снова свиваются. Три нити, три волоска на дядимитиной лысой голове. И вот уже сползает линия носа. Ноздри. Брови. Глаза.

Большие широкие ноздри...

Большие широкие ноздри над Костиным лицом. Ему пора к Бузе. Она ждет его сегодня. Поздно уже. А у дяди Мити веселье в самом разгаре. А дядя Митя над ним куролесит, пританцовывает и приговаривает:

— Ты чудный, Костик. Душа у тебя нежная, и ты им не чета. Ты нежный...

Он берет Костину ладонь в свою и накрывает ее другой своей ладонью. И прихлопывает, и приплясывает.

Смешно и нелепо приплясывает перед ним захмелевший дядя Митя, припадая все время на одну ногу, словно хромает. А вокруг, в накуренном полумраке, пляшет, веселится, галдит вся их дворовая братия. Ну и патефон, конечно. И "Брызги шампанского". И Динка со своими дружками из мореходки. И все, все. И каждому что-то нужно от Кости.

А ему уходить надо. Он к Бузе торопится. Ну как же вырваться? Как проскочить, чтоб никто не заметил?

— Костя, можно тебя на минутку? — говорит Жанка. — Мне Валек твое письмо передал. Хочешь дружить?

Балбесы! Жили в одном дворе и письма друг другу слали.

— Хочешь дружить?

— Хочу.

— Тогда пошли танцевать.

Жанка — писаная красавица, но Косте сейчас не до нее. Это Валек вчера, поймав его после школы, заставил написать ей

письмо. И вот тебе, пожалуйста. Однако Костя не верит в эту дружбу, он чувствует в этом какой-то подвох. Не такой уж он красавец, чтоб Жанка с ним дружила. Да и Валек не дурак, добровольно не отдаст никому.

У Кости горит лицо и потеют руки. Сейчас закончится танец, он выйдет на кухню и подставит руки под холодную струю воды.

В кухне один Толяба. Хорошо накачавшись, он дрыхнет, сидя на стуле, но сразу открывает глаза, как только входит Костя. "Ну и черт с ним, — думает Костя, — он мне не помеха".

— Ну что? Идешь? — говорит Толяба.

Костя опешил. Неужели и этот уже знает? Ну и сука же Малый! И только подумал так, увидел расплывшуюся рожу Малого, вплеснутую в темное стекло двери со стороны комнаты.

Малый следил за ним настырно и неотступно. И чего следить? Ведь знает уже о предстоящем свидании. Костя рассказал. Выполняя обещание, рассказал.

— Ну что? Идешь? — повторил он, входя на кухню, вопрос Толябы.

— Трепло! — зло сказал Костя и вышел во двор.

Малый выскочил вслед за ним. Он поклялся, что ничего Толябе не известно, что вопрос Толябы — чистая случайность, что тот и знать не знает, что к чему. Бывают же такие совпадения. Просто так, от фонаря.

Костя ему не поверил, но и Толябу расспрашивать не решился. Кто их разберет, может, и не знает Толяба ничего. Совпадения-то, в самом деле, бывают.

Дальше все пошло не так, как он ожидал.

Во-первых, он не ожидал, что у него будет колотиться сердце и потеть руки. Он думал, что после стольких разгульных вечеров, когда он абсолютно свободно трогал ее, как хотел и где хотел, после стольких офанаренных поцелуев, после того, как она столько раз выступала перед ним почти что в чем мать родила, — после всего этого, думал он, его ли может скрутить застенчивость или, того хуже, волнение.

Во-вторых, он не предполагал, что она встретит его вот так, в одной сорочке, в едва ли не полной тьме и тихо, как вориху, проведет прямо в постель.

Но все именно так и было. Все было именно так, как он не думал, не предполагал.

Сердце начало колотиться еще там, на лестнице, когда он только начал подниматься. Потом затряслись руки, и он никак не мог вставить ключ в дверную дырку, вернее не ключ, а кусок согнутой под прямым углом проволоки, которую он только что, как было условлено с Бузей, достал из-под половика. У него перехватило дыхание, он вообще пытался не дышать, так как казалось, что он дышит слишком громко, и его могут услышать в соседней квартире.

Наконец, ему удалось этот проволочный ключ как-то за-

сунуть, но внутреннюю задвижку он так им и не отодвинул. Дверь, к счастью, сама распахнулась. Понятно, что ее открыла Бузя. В одной сорочке, с распущенными волосами, она взяла его за руку и потащила за собой в комнату.

— А Натана нет? — прошептал он идиотский вопрос и почувствовал, что его ладони снова мокрые, снова вспотели.

— А то ты не знаешь, — так же шепотом откликнулась она и кырнула под одеяло.

Да, он знал. Он знал, что Натан уехал навестить сестру в Кишиневе, и, если б не уехал, никакого б такого свидания не состоялось. "Ну и черт с ним, что не состоялось бы", — полоснуло в башке. Он слышал легкое посапывание детей, которые спали в этой же комнате, буквально в двух шагах от него, и машинально вытирал руки о штаны. Надо же такое! Ведь специально помыл их ледяной водой, протер досуха полотенцем, а они все равно, суки, вспотели.

— Что же ты стоишь, как истукан? Сбрасывай шмотки.

— Тише, детей разбудишь.

— Их теперь бомбой не разбудишь.

— А если? — он стал медленно стягивать с себя свитер.

— А что, если Натан вдруг войдет?

— Откуда? Из Кишинева?

— А если?..

— Ну знаешь, милый мой, если у тебя так много "если", то ты бы лучше дома сидел.

— Сами знаем, что лучше, — с напускной бравадой прошептал он, резким рывком отдернул одеяло, бухнулся на спину и замер. Руки на груди, вылитый Иисусик.

Бузя приподнялась, сбросила с себя сорочку и прижала его к себе крепко-крепко, как мама. И все. И дальше он ничего вспоминать не хочет. Не может. Не должен.

Дальше вспоминать ничего нельзя.

Ходят, бродят, колобродят облака.

Ночные, лунные. Ночное облако — и память, и окно... И память, и окно... Гадость.

Ночное облако — и память, и окно. Моим глазам прислушивается ветер. Гадость вдвойне. Ты мудака, Костя. Пора на боковую. Последнюю сигарету дотянешь — и все. И на боковую. Последнюю...

...Бузя приподнялась, сбросила с себя сорочку и прижала его к себе крепко-крепко, как мама. Он не дышал.

Он уткнулся носом, всей мордой в ее груди и не дышал. А она целовала его в плечо, затылок, волосы и тихо-тихо причитала: "Какой же ты у меня Иисусик! Какой же ты Иисусик, право!.. Иисусишка мой!.. Потом развернула его на себя, и он почувствовал, как его крайняя плоть ушла во что-то горячее, большее и пустое. Он знал во что, но никогда не представлял

его себе таким горячим, большим и пустым. Сучка, кто только в ней ни перебивал!

— Ты меня разыгрываешь?

— Ни за что.

— Ну расскажи.

— Ну что рассказывать? Была девчонкой, увидела собак за этим делом, внутри все оборвалось.

— И не было стыдно?

— Я же говорю, внутри все оборвалось.

— И ни капельки стыда?

— Перед кем?

“Сучка, кто только в ней ни перебивал!” — первый, намеренно злой промельк мысли. Потом толчки, вспышки памяти, как мелькание кадров.

Из грязных разговоров с пацанами он знал, что надо работать, надо дрыгать задницей... вверх-вниз, вверх-вниз... Что же он, зараза, забыл об этом? Вверх-вниз, вверх-вниз... И тут же образ дворового пса в этом мучительно стыдном и грязном движении. И как только образ пса возник, он уже не мог избавиться от него, не мог освободиться от сознания, что он такой же. Такой же... Животное, пес, мразь.

— Ну что рассказывать? Была девчонкой, увидела собак за этим делом...

— И не было стыдно?

— Я же говорю, внутри все оборвалось.

— И ни капельки стыда?

— Перед кем?

Стыдно. Господи, как стыдно!.. Грязно!.. Вверх-вниз... И вдруг — неожиданная резь на кончике плоти, будто писать хочется. Но нет, это совсем другое, это то, что пацаны называют “спустить”. Так надо. Так надо. Освободи нерв, освободи! Ну!.. Ну... И в то же мгновение — как оплеуха, как плевков в рожу, как обвал — Бузин вскрик:

— Что же ты делаешь? Ты же всю меня обоссал! Молоко-сос! Сопляк!

Громко, шумно рванулась, вскочила на ноги.

— Ну какая же я дура, связалась... Сопляк! Мальчишка!

Только бы дети не проснулись, только бы никто не услышал! А что, если Малый под дверью? Что, если Малый...

Конечно, Малый был под дверью. И не один, а с Толябой, и с ними еще несколько человек. Я понял это сразу, как только оказался на кухне, куда Бузя меня тут же вытолкнула, выбросив вслед за мной мою одежду. Я торопливо одевался и слышал за дверью возню и шушуканье. А когда вышел в сенцы и заглянул в щель деревянного простенка, увидел, как Ма-

лый пинком в зад столкнул Толябу с лестниц, а не то Яковенке, не то Вальку отвесил подзатыльник, требуя, очевидно, убраться. Судя по топоту ног по лестнице и приглушенной перебранке, там было достаточно много народу. Я понял, что они не разойдутся, пока не увидят меня. И еще я понял, что теперь никогда не смогу с ними встретиться.

Стыд и страх, и трусость, и отвращение к себе смешались в нечто неотчетливое, тяжелое, давящее. И лишь одно желание было ясным и четким — исчезнуть. Очутиться каким-то образом на море и уплыть.

Голова работала лихорадочно быстро, но тупо. Ощущение тупика было невыносимым. Я уже готов был вернуться в комнату и через окно — не знаю, как — высоко же, черт возьми, — спуститься на рыночную площадь. Я даже представил себе, как оттолкну Бузю, если попытается помешать. Но в этот момент пришла мысль о чердаке. Я вспомнил, что тут же в сенцах в потолке прорезана дверь на чердак.

Я поднял глаза и действительно увидел зияющий в полумраке квадрат люка. Никакой лестницы под ним не было, только два мешка, поставленных друг на друга, то ли картошки, то ли угля. Если взобраться на них, можно уцепиться за косяк и подтянуться.

Но как отбросить крышку двери?

Нужна была какая-то жердь, палка — что-нибудь, хотя бы в метр или даже меньше, в полметра. Долго раздумывать было некогда, и, заметив топор, я решил попробовать.

На мешки я взобрался сравнительно легко. Длина топора была недостаточной, но, встав на цыпочки, до крышки я кое-как дотянулся. Стал толкать крышку, она поддавалась, но острый край лезвия входил в мякоть дерева, и оттолкнуть крышку так, чтобы она раскрылась, я не мог.

Прошло какое-то время — казалось, вечность! — пока мне удалось ее отбросить, но, опять же, не полностью, а наполовину. Возвращаясь в свое положение, она всем весом упала на топор, и на этот раз острее вошло так глубоко, что мне пришлось сделать усилие, чтобы его вырвать.

Счастливым решением развернуть топор приходит сразу, но для этого уже, кажется, нет времени. И все же это единственный выход. Железяку вмять в руку, а рукояткой толкать.

Сделать это, оказывается, не просто. Одна рука у меня занята. Чтобы не свалиться, я уцепился ею за встроенный в верхнюю часть простенка выступ. Так что разворачивать приходится в одной руке.

Расслабляю кулак — даю возможность топоричу свободно соскользнуть. И вот тут-то я не рассчитал. При соскальзывании край лезвия врезался мне в запястье.

Кровь я заметил, лишь когда откинув, наконец, эту чертову крышку и уцепившись за края люка, стал подтягиваться. Оказавшись на чердаке, я прикрыв за собой люк и некоторое

время лежал не шевелясь.

Что теперь? Что теперь? Что теперь? — стучало в висках, давило, звенело так, что казалось, будто вся чердачная пыль и темень, и духота наполнены этим нестерпимым паническим звоном.

Что теперь?

Каролина-Бугаз... В Каролина-Бугазе у маминого родственника был клочочек земли с каким-то фанерным строением, точнее, покосившимся, наспех сколоченным сараем, размером чуть больше, чем собачья будка. Чистый рай! Почти что дача!

На четвереньках я дополз до середины чердака, где можно было встать во весь рост, и, встав, в дальнем конце его увидел звезды. То был ход на пожарную лестницу, сползающую по стене нашего дома со стороны Александровского сквера. Прежде, чем спуститься по ней, я снял рубашку, снял майку, перевязал майкой рану и снова надел рубашку.

Все, что случилось в мое отсутствие, я знаю со слов Жени, так как до Каролина-Бугаза я не добрался, а набрел по дороге на Павлика, ее ухажера, обитавшего тогда на Десятой станции Большого фонтана.

Женя — вдова, солдатка, тихая деревенская баба. Она жила во флигеле со стороны Чкалова, в маленькой комнате с тусклым оконцем, выходящим на застекленную балконную веранду, и поэтому всегда темной, заставленной к тому же всяким хламом. После дяди Мити и Бузи, это было третье место, где я часто проводил вечера. Я давал уроки ее ухажеру Павлику, и даже не ухажеру, а очередному, так сказать, мужу. Он учился в вечерней школе, и я помогал ему по арифметике. Женя платила мне по трешке, кажется, — уже не помню — за урок.

Всякий раз, когда я думаю о случившемся с Бузей и отцом в сослагательном наклонении, я клянусь свой ранний эротизм, первые толчки которого я обнаружил в себе именно здесь, в Жениной комнате, во время занятий с Павликом, этим красавцем-увальнем, которого она, Женя, приютила по бабьей доброте своей и, как я после понял, по бабьей нужде своей, одинокости и незащищенности. Приютила и приняла его на полное иждивение, как будто калеку. А он калека, как раз наоборот, то, что называют "кровь с молоком", здоровый, холерный, жил себе у нее на всем готовом и в ус не дул.

Был он у нее недавно. Где-то с год. До этого были другие. Были и уходили. Долго не задерживались. Она их из деревни привозила, когда ездила туда навещать сына, который от довоенного, настоящего мужа еще остался. Привезет, приютит, выходит, пропиской городской обеспечит, паспортом, а он поживет малость, возьмет свое — и поминай как звали. Она работала швеей на военной фабрике, знала много военных и партийных чинов, так что могла доставать паспорта своим сельским согражданам без особого, видимо, труда. Ты ведь знаешь, они при Сталине на положении крепостных жили, из колхоза — никуда.

Не помню, как там случилось, но однажды зашел я к Павлику, когда они с Женей уже в постели лежали. Стоя на пороге еще, я смутился, естественно, и повернул было назад, но Павлик, вскочив с кровати, подбежал ко мне, усадил за стол как ни в чем не бывало, а сам снова юркнул в постель. Я остался сидеть.

Он мне задачки, как обычно, подкинул. Пока решал, пока он нес разную дребедень о своих "видах на будущее", Женя задремала. Она дремала у него на груди, а я украдкой поглядывал на ее оголенные плечи, на белые полотняные кальсоны Павлика с чуть растопыренной шириной. Поглядывал с какой-то тревожной трусливостью, так как мое лицо было освещено, а они — в полумраке, в тени абажура, висящего прямо над мной.

Так и остались в памяти: большой оранжевый абажур, тесная, жарко натопленная ночная комната, белые кальсоны, плечи, ключицы, коричневое дыхание спертого воздуха, скрывающая оторопь блуда, наглости, распах, затаенная сладость стыда.

— Жень, а Жень, покажи-кась Костику, как ты нас любишь! — Павлик взял Женину руку, уткнул себе в пах. — Ну, давай, давай, не стесняйся, покажи хлопцу, как ты нас любишь! — лоснящиеся, туго натянутые в улыбке щеки, два ряда ровно пригнанных, ярко белых зубов.

Рука у Жени узкая, короткопалая и грубая, со вздутой прожилкой. Она едва обхватывает коренастый столбик павликовой плоти и с привычной ленивой бесстыдностью ползет по нему то вверх, то вниз.

Жарко, тесно, я не знаю, куда бы мне провалиться. Замирание.

Все механизмы мира так или иначе моделируют Богом созданный принцип сцепления живых разнополюх существ: болт и гайка, поршень и цилиндр, мечик и плашка, ось и втулка, вал и колесо...

Кому не лень — продолжит.

Костя спустился по пожарной лестнице в Александровский садик, пробежал Чкалова, Пушкинскую и через несколько минут был уже на вокзале...

Ну что Вы, Павел Никанорович, заладили? Вера, да вера!

Советская власть тоже, простите, держится на жупелах веры и мифа со всеми вытекающими отсюда последствиями, с выходами к религиозному экстазу, гонению на инакомыслящих, претензией на знание какой-то одной правды, абсолютное владение истиной и так далее, и так далее. И как раз этой неудержимой ее религиозностью, а не атеизмом, как Вам приятно думать, обусловлены и наше безбожие, и наше недоверие к церкви в целом.

Потому-то с таким ревностным ожесточением и обрушиваются служители коммунистического культа на церковь, что притязают на те же в структурном отношении ценности: безусловное следование догмату, запрет на сомнение, соборность (если не употреблять слова "стадность").

Проще говоря, это ошибка двух церквей, священная война за обладание некоторым верховным существом, панацеей от всех бед. И надо ли удивляться ее жестокости? Известны ли вам войны более жестокие, чем священные?

Наш русский ум, воспитанный на "Карамазовых", с каким-то, я бы сказал, захлебом утверждает, что атеизм, отбросив страх перед Богом, высвободил в человеке зверя.

Мура на киселе.

Не говоря уже о том, что нравственность, покоящаяся на страхе, особого восторга во мне не вызывает, я бы хотел обратить Ваше внимание на очевидную партийность этого утверждения.

Ах, до чего красиво: утрата Бога творит в нас зверя! Да будет Вам, Павел Никанорович. Точка зрения — и ничего больше! И как всякая другая точка зрения, имеет свое место и свою цену на мировом рынке идей. И так же подвержена рыночной конъюнктуре и спросу.

Если же отбросить всю эту торгашескую чехарду, то как же еще, как не с Богом на устах, творились и творятся в мире самые звериные подвиги? А? И что же еще, как не религиозное сознание, одержимое идеей спасения так называемого Падшего от якобы вселившегося в него Зверя, освящает эти подвиги высшей моралью? Вы знаете? Я — не знаю.

О, конечно, религия — не "ножичком полосну", но полосну "во имя". Во имя святого дела. Во имя справедливости. Во имя человека. Во имя, во имя, во имя... Без конца "во имя".

Во имя любви! Убить во имя любви! Во имя твоего же собственного блага! Во имя спасения души! — Гениально, не так ли?

Подлинный атеист не станет убивать верующего, исходя из высших побуждений, а верующий именно высшими побуждениями и обуян. Не тут ли проглядывает единый всемирный лик святой веры? Причем веры совершенно безразлично во что. В коммунизм, в великую арийскую расу, в Магомета, Христа, — в кого угодно. Главное, чтоб вера-то была святой, а уж за ней мы не постоим. И враги найдутся, и подвигам не будет числа.

Костя спустился по пожарной лестнице в Александровский садик и побежал на вокзал. Поезд на Каролина-Бугаз будет только утром. Денег на билет не было. Майка на руке пропиталась кровью.

Он вышел из вокзала и машинально побрел через Куликовое поле к трамвайным путям, ведущим на Большой фонтан.

Трамвай мой — поле...

На буфере узкоколеечного пульмана он доехал до десятой станции, вернее, чуть дальше десятой, до того поворота между десятой и одиннадцатой, где рельсы наиболее близко подходят к морю. Соскочил на ходу и, сопротивляясь инерции бега, по крутому откосу спустился к воде. Он успел хорошо продрогнуть, стоя на буфере мчащегося сквозь ночь трамвая, и поэтому здесь, у воды, ему показалось поначалу теплее. Первое, что надо сделать, это промыть рану соленой водой.

Соленая вода все заживляет, все заживляет.

Он подвернул штанины, ступил в воду и, наклонившись, погрузил в нее пораненную руку вместе с майкой. Мягкая серебряная дорожка протянулась от него до луны, висевшей на горизонте. Тихо плескался прибой о прибрежные скалки. Пахло рыбой и солью.

Ночь он провел в сторожке пионерского лагеря, где отдыхал два последних лета подряд по путевке от маминой мыловарки. Лагерь был пуст. Сезон начинался намного позднее, в июне. Испытывая страх перед темнотой, перед ночными тенями, шорохами и безлюдьем, он свернулся калачиком на полу и заснул.

Заснул, считая до ста, до двухсот, до тысячи, стараясь счетом перекрыть ломоту в руке, голод, дрожь во всем теле, дрожь от мокрой намотанной на руку майки, от шебуршащей в углу мыши, от одиночества, покинутости, трусости. Каждый раз, когда всплывал образ Бузи, ее бешеного вскрика, жаркого разверзлого влагалища, мочи, позора, счет обрывался и он начинал считать сначала. Сначала, потом опять сначала, опять...

Проснулся он у Павлика на руках, но не придал этому никакого значения, так как был уже весь в жару и мало что сообщал. Проснулся и почти тут же снова провалился в сон.

Как выяснилось позже, Павлика пристроила в лагере Женя с помощью своих военных дружков. Он должен был выполнять здесь обязанности завхоза, заниматься мелким ремонтом, побелкой, покраской, следить за чистотой двора. И вот он жил здесь, готовя лагерь к первому заезду пионеров. Он перенес Костю к себе в комнату, притащил лекарств, поил чаем с малиновым вареньем, и таким образом уже к вечеру Костя начал понемногу приходить в себя.

Однако в течение двух последующих дней он был настолько слаб, что оставался в постели и постоянно впадал в какое-то полубредовое, полубморочное состояние.

Ему снились кошмары.

То сваливался на него горящий абажур, то обгорали стены зала и над ним зависал ничем не поддерживаемый потолок, то он с котенком в руке с трудом удерживал равновесие на высоком, сплетенном из железных прутьев подоконнике.

Но ничего из этих снов в памяти не удержалось. Запомнилось лишь одно, причем не зрительный образ, а строчка. Звуча-

шая, ритмически ударная строчка: трамвай мой — поле... Нелепая, непонятная, но во сне казавшаяся наполненной очень важным смыслом. Что же она могла означать? Там, во сне, по другую сторону бытия?..

Трамвай мой — поле.

Трамвай мой — поле.

Трамвай мой — поле.

На третий вечер, под выходной, приехала Женя. Прямо с порога, увидав Костю, вскрикнула, прикрыла ладонью рот и так и осталась стоять, как вкопанная. Все у них во дворе были уверены, что Костик давно умер, что его убили Бузя с мужем Натаном, что тело его, "порубленное у куски, они где-то заховали".

Достопочтенный господин Маккомб, я чрезвычайно тронут тем вниманием, с которым Вы относитесь к моему творчеству и очень не хотел бы Вас разочаровывать. Я бы также не хотел подвергать сомнению Ваше профессиональное любопытство, равно как и Ваш исследовательский пафос в качестве историка русской культуры. Что же касается Ваших усилий в деле собирания материалов для книги об отце, то они мне попросту симпатичны и ничего, кроме признательности, добавить к этому не могу.

Вместе с тем, коль скоро Вы обратились ко мне, с моей стороны, было бы нечестно поддерживать закравшиеся в Вашу душу сомнения относительно личности моего отца, ни на чем другом не основанные, как только на несколько искаженном восприятии моего последнего рассказа.

Я могу понять Вашу чуткость к спорам "славян меж собой", но Ваши предпочтения при этом, хотите Вы того или нет, откровенно высокомерны и злорадны. Подключенные к совершенно чуждой для русского контекста шкале ценностей розовощекого рационализма, они обеспечивают давнишний европейский взгляд на русских как на конгломерат рабства, дикости и свинства, как на некоторое темное племя, от которого черт знает что можно ожидать.

Достопочтенный господин Маккомб, я чрезвычайно тронут Вашим интересом к моей работе. Однако сразу признаюсь, что не нахожу в Ваших интерпретациях ничего адекватного ее содержанию и смыслу.

Я художник, а не репортер, и рассказ мой в плане сюжета — чистая выдумка, плод фантазии и ничего больше. В этой связи Ваши попытки судить о нем так, как будто речь идет о моей биографии, а тем более, делать на этой основе выводы о моем отце, — и нелепы, и неблагоприятны.

Образ героя "Марии и Иисуса" ни единой черточкой не

связан с моим отцом, чье имя и жизнь святы для меня и не могут быть поколеблены никем и ничем.

Достопочтенный господин Маккомб, Ваше внимание к моему творчеству могло бы быть трогательным, если бы не было предвзятым. С чего Вы взяли, что в "Марии и Иисусике" я изобразил своего отца? И может ли вообще нормальный человек говорить об отце своем таким недостойным и грязным образом, если б это даже и было правдой?

Или ничего другого Вы и не можете ожидать от русских?

Да, мы — звери, да, мы — хамы! Мы отстали от Вас на двести тысяч лет. Но оставьте свои суждения о нас при себе. Ну, пожалуйста!

Дорогой сэръ, чтобы понять жизнь моего отца, надо знать и понимать Россию немного больше, чем это свойственно Вам. И вообще, не пристойнее ли для Вас было бы оставить Россию русским?.. Ради бога, а?..

Вы мудака, милостивый государь — господин Маккомб. Вы мудака! А мой отец свят и неприкосновенен! И все... И все... И все...

Стала притчей во языцах
наша русская тоска,
не напиться — так казнить,
душу выскоблить дотла...

Послушай, Розалия, твой дружок Маккомб атакует меня с истово ослиной настырностью и, как я понимаю, благодаря твоим наущениям. Уймитесь оба!

Послушай, Розалия. Послушай мой рассказ об отце. Я не буду кривить душой, не буду многословить и суетиться. Я расскажу тебе спокойную правду — правду, пришедшую ко мне с досадным опозданием, но тем не менее свободную от моей субъективной воли, выдумки или нажима.

Я не помню чувственной связи с отцом, чувственной в том смысле, в каком она была с матерью, — сыновней связи. Возможно, ее и не было. Я не хочу сказать, что я не осознавал себя его сыном, — в том-то и дело, что осознавал, преимущественно осознавал, но никогда не жил по отношению к нему в стихии бессознательной животной сыновности, той животной единорковности, которая присуща всем живорожденным тварям. Присуща неизбежно, по самому факту рождения.

У меня, повторяю, этого не было или я просто не помню этого — что, в сущности, одно и то же.

Почему так случилось, я не знаю, но я всегда ощущал некоторую отдельность его от нас — меня и матери. Оппозиция "мы — он" вошла в мое сознание сызмальства, и ничто не под-

сказывало задуматься над ее противоестественностью.

Сейчас очень модно объяснять все с помощью Фрейда, хотя, по моим понятиям, сей гениальный муж, как, впрочем, и любой другой гений, был по-своему достаточно ограниченным человеком. У меня есть друг, который всю жизнь с неприязнью относился к матери, зато отца обожал и боготворил с пеленок. Что касается меня, то я не испытывал никогда ни малейшей неприязни к отцу, тем более — ненависти, и уж, наверняка, никогда не ревновал его к матери.

Я всегда пыжился понять его, вслушаться, заглянуть изнутри, посмотреть в щелочку. Он был для меня другой планетой. Его долгие рассуждения, сама логика казались чужими, не от мира сего и скорее раздражали, чем увлекали. Иногда вызывали сочувствие, но тоже какое-то отстраненное, сочувствие со стороны, как — к нищему страннику.

Вообще говоря, "сторона", "странник", "странный" — наиболее точные координаты его облика, судьбы, природы — всей его жизни. Насколько я могу судить (а я могу теперь судить, должен, обязан), он был человеком высокой одаренности и страсти, а оказался на обочине жизни, на краю, в стороне. Друзей у него почти не было, карьера не состоялась, семья не сложилась. В нем всегда жила жажда родства, близости, понимания, отклика, но ни мать, ни я, ни его рано выжившая из ума сестрица никак не могли ее удовлетворить.

Ведь что выходило? Мать любила его, хотя, если быть точным, слово "любила" несколько из другого ряда. Не любила, а была ему по-рабы преданной. Преданной до невероятности, до умопомрачения, до какой-то нечеловечей, кошачьей иступленности и слепоты. И в то же время, между ними была стена, их разделяло несоответствие температур, несовместимость душевных контекстов, несоизмеримость миров.

Мать не понимала его. Стоило ему что-то ей выговорить, за что-то укорить, как она тут же замыкалась, становилась чужой и холодной, не переставая однако быть при этом его тенью, его покорной и преданной рабыней, кошкой. Разумеется, это приводило его в совершенное неистовство. Неистовство, в котором не было ни злости, ни злобы. Только отчаяние.

В отличие от матери, я не любил его. Зато понимал. Не умом понимал, не чувством, а каким-то потусторонним, внемирским инстинктом, догадкой, уколом, узнаванием его в себе. И даже не "его в себе", а просто узнаванием. У Цветаевой есть строка: "круговая порука сиротства"? Вот этой порукой, вот этим крошечным (куда ни ткнись) ощущением всеобщей обездоленности я его понимал. Понимал и злился, как звереныш, и не хотел понимать. Что, он лучше других?

Я не был добрым, и никто из нас не был добрым. Тупой, ничтожный вопрос, фразочка из дешевой коммунальной морали — что, он лучше других? — во всем нас оправдывала. А человек должен быть лучше других, он всегда лучше других, по

крайней мере, в глазах близких и друзей. И если это не так, то с нами что-то случилось, ибо не можем же мы жить по законам стада. Не можем же?

Отец не мог. Он на самом деле был лучше других. Иначе ничего не понятно, ничего не выходит.

Представь сама. Сын потомственного дворянина, члена Союза Михаила Архангела, прославившего черносотенским, выходец из глубоко религиозной православной семьи, выпускник двух университетов, женится на зачуханной еврейской мещаночке и остается верен ей по гроб. Почему?

Она была красива? — Нет. Образована? — Нет. Умна? Богата? — Тоже нет. Нет, нет и нет. Миловидная запуганная душечка. Все.

Так почему же?

А вот потому. Потому именно и женился на ней, что был таким, был русским аристократом, был мучим русской совестью.

Назови меня шовинистом — черт с тобой, — но русская совесть — это нечто особенное, дьявольское, святое, ни с чьей другой совестью в мире не сравнимое. Это петля! пожар! крышка!

Нам легко сейчас полушутя-полуцинично передразнивать Радищева. Мол, ах-ах, что за барин был. Выходил, мол, с чашечкой кофе на барскую веранду, а у него, видите ли, ложечка в руке дрожала и кофеек на пол проливался при виде нищеты и страдания народного. Так оно же так и было! И ложечка дрожала, и кофеек проливался. Это же и было явление русской совести. Пожара. Революции.

Сколько бумаги исписано об истоках Красной России, сколько перьев сломано, сколько чернил изведено, а вот этой замешанной на огне совести русской так никто в расчет и не берет. Совесть дьявольской, губительной, может быть, отдающей подчас даже терпким привкусом тщеславия, этакое душевно-го щегольства, но все равно святой, потому что бескорыстной и — о, Господи! — как часто полностью самоотреченной.

На этом фоне история встречи моих родителей могла бы быть воспринята как событие едва ли не тривиальное. Но и при этом оно фантастично, выходящее из ряда вон.

Мой дед, как я уже сказал, матерый русофил и так называемый черносотенец, не питавший, понятно, особой любви к еврейскому племени в целом, мог быть, оказывается, — и был — принципиальным противником еврейских погромов. Семья матери и была одной из тех многодетных еврейских семей, которые он прятал у себя в доме в самый разгар гражданской заварушки, когда страсти сражающихся были накалены до предела, а антиеврейский настрой в Белой Армии подогревался еще и фактом почти поголовного ухода сынов Торы к большевикам.

Он прятал их у себя в доме, а после вывез в свое помещ-

ть под Ростовым, чем вызвал бурю негодования среди соседей и друзей. Дважды в знак протеста и возмущения его поместье поджигалось своими же братьями-дворянами. А когда это не помогло, один из его ближайших друзей спровоцировал дуэль, и дед не мог отказаться.

Так погиб мой дед, отец моего отца.

О, конечно, он погиб, защищая свою честь и свои убеждения, но вдумайся, отринь на миг мысли о происхождении и корнях, ведь он погиб, по существу, из-за того, что некое инородное тело, явно чуждое всему строю его интересов и забот, вдруг вклинилось в его жизнь. И как тут ни крути, а это что-то да значит, даже если учесть, что в абсолютном выражении, может быть, и гнусно говорить об инородности в рамках одного и того же рода человеков. Однако мы живем в реальном мире, который — хорошо это или плохо — не сводим к лабораторным условиям редукций и абсолютов.

Ты знаешь, что я не антисемит, хотя бы потому, что во мне самом есть и семитская кровь, но печать еврейской темы на дедовой судьбе нередко и мою мысль загоняет в тупик.

Отцова смерть была той же природы. Мне рассказал о ней Жанкин брат — Борис, который сидел вместе с отцом. Ты знаешь их. Их мать звали тетя Вера, она работала у нас в подвале на засолпункте и торговала солеными огурцами прямо на улице. Они жили в том же парадном, где жили Шапиры. Не знаю, за что сидел Борис, кажется, тоже за убийство, но это случилось еще до нас, то есть, до того, как мы переехали в ваш дом.

Так вот, Борис рассказал мне, как нелепо и страшно погиб отец. Они были с ним в одном лагере. Не будучи слишком общительным, скорее замкнутым и сварливым, отец был знаменит в лагере тем, что знал наизусть массу приключенческих романов из жизни средневекового рыцарства. А вся уголовная верхушка, оказывается, эти романы очень любила, и благодаря этому отец пользовался ее неизменным покровительством. Он рассказывал любовные истории, его за это хорошо кормили и нередко освобождали от работ, так что по лагерным стандартам жить, в общем, было можно.

Однако отец, видимо, переоценил важность литературы для своих покровителей.

Как-то на остров, в местную школу, приехало двое молодых учителей, он и она — супруги, которые только-только окончили институт, поженились и были направлены туда по распределению. Вскоре они были пойманы лагерниками и связанными приволочены в барак. И ее, и его, голых, разложили на столе, загнули кляпы во рты, привязали к ножкам. Выстроилась длинная очередь людей-зверей.

Ясное дело, отец вступился. Никому он не помог, но вступился. Его с разможенным черепом увезли в больницу, а учителей задрали до смерти.

Казалось, это должно было послужить ему уроком. Но нет. В другой раз он вступился за свинью. Да, да — за свинью, которую утащили для этой же цели с прибывшего на остров парохода. За свинью или за людей, которые готовились ее драть, — какая разница? Зная отца, могу предположить и то, и другое. Уж дюже высоко ставил он это самое понятие — человек. На этот раз его забили насмерть, а труп свиньи скормили собакам, которые, по рассказу Бориса, воротили морды, не желая оскверненный труп жрать.

Так погиб мой отец, сын моего деда.

Понимаешь, Розалия, в чем дело? Есть люди, рожденные для красоты, причем красоты чаще всего стандартной, плакатно-книжной, броской и очень-очень такой правильной красоты. Чтобы блеск был, чтобы с иголочки все, никаких компромиссов, никаких низких ставок, никаких уценок вообще. Орел — так орел, жена — так жена, успех — так успех. Все по высшему классу. А как же! Иначе и жить не стоит!

А есть и другие люди. Они рождены для тепла, малости, серной спички, шинели, причем отдавать и принимать тепло совершенно для них равновелико.

Равновелико, Розалия, равновелико!.. Отдавать для них — равно принимать!.. "Могла бы — свою же пантерину кожу сняла бы...".

Они тоже тянутся к красоте и силе, но они снисходительны и уступчивы к тому, что преподносит им судьба, случай, чаще всего несчастный случай. Они тоже эгоистичны, но их эгоизм питается состраданием. Со стороны, они мелки, загнаны, не рысаки — а клячи. Но их внутреннего духа и мужества зачастую достаточно, чтобы выстоять напор десятка дородных рысаков.

Этот второй тип людей приходит мне на ум каждый раз, когда я пытаюсь объяснить себе отца. У нас есть отцова фотография, где он студент еще. Я видел ее сотни раз, но так, походя, без особого внимания. А теперь вот смотрю и думаю, думаю и смотрю. Статный, рослый, молодцеватый. Строгий, волевой подбородок. Усмешка и вызов в глазах. Ни намек на сентиментальность.

Что же случилось? Революция смяла? Опрокинула? Вывернула? Пустила под откос? Но можно ли все валить на нее? Не многовато ли? Разве его женитьба на матери моей — не следствие каких-то более имманентных свойств? Разве не наши собственные чирья — наши зычные рулевые?

Чирей романтизма, чирей рыцарства. Чирей сю-сю.

Они поженились, когда отцу едва стукнуло двадцать, а мать была беременна моим братом, который скоро умер, где-то в трехлетнем возрасте.

Как видишь, довольно банальный случай. Молодой, ве-

сенний, вольный, в брызгах курчавой, беспокойной плоти, чрезмерно застенчивый, чрезмерно совестливый, прежде, чем согрешить, должен был уговорить себя в том, что влюблен. А уговорив — поверить, а поверив — доказать это уже на всю катушку, на всю полноту души и океана.

Душа — океан. Его душа.

Они покинули дедов дом вместе и замотались, закружились, затерялись в вихрях враждебных. Чем больше бед, тем ближе притирались друг к другу, пока, наконец, не слились в единую плоть и кровь, в единую кость.

Ругались? Да, ругались. Всю жизнь в нужде, в бедности, в отсутствии своего угла — и ругались. Порой дико, по-сумасшедшему. Вернее, мать нет, — отец. Мать умолкала сразу. Умолкала, сникала, сжималась как-то сиротливо и покинуто, глядя исподлобья, непонимающе, подчас ощерившимся загнанным зверьком, но без какой бы то ни было попытки отмахнуться или возразить.

А отец — гром, шквал, извержение вулкана — пока не вывернет всего себя наизнанку, обычно не успокаивался. Потом сам же от этого и страдал.

В мирные дни называл ее христианкой, христианской душой. "Ну какая же ты еврейка, — говорил, — когда ты чистой воды христианка". А среди сослуживцев, подвыпив: "В моей Машке больше христианского, чем во всех вас вместе взятых". Все знали, что мать — не Машка, а Малка, что она еврейка, и воспринимали это не иначе, как особого рода шутку, аргумент в споре или, на худой конец, — объяснение в любви.

По мне же, именно здесь и торчала заноза.

При нормальном развитии у нормальных людей детский праздник, особенно у мальчишек, восходит обычно к тем славным минутам, часам, дням, которые они проводили с отцами вместе, с глазу на глаз. На охоте ли, на рыбалке ли, над сооружением ли какой-то домашней утвари — где угодно и как угодно, но с отцом-наставником, умельцем, старшим другом.

Эти часы и дни запоминаются на всю жизнь, они ожидалась, они были дарованы в качестве признания твоей уже тоже взрослости, как особая привилегия, как знак неба, как знак доброты и совершенства мира, как выход из однообразия жизни, из будней. Господи, как же это здорово! Мы с отцом выловили вот такого леща. Мы с отцом смастерили табурет. Мы с отцом ходили на зайца...

Ничего подобного не было у меня. И, может быть, поэтому мои сегодняшние вылазки в царство отцовской мысли, судьбы, страдания и есть восполнение зияющего за спиной провала, обретение праздника, который в свое время не состоялся. Точнее было бы сказать, иллюзии праздника, его сколка, жеста. Жеста — именно.

Видишь ли, Розалия, человеческий путь, поступок — это всегда некое множество. Он никогда не выпрямляем и не на-

правляем однозначно. Он — воплощение множественности, пучка, чаще всего неразложимого, а если и разложимого, то в своих отдельных импульсах и мотивах — малозначимого.

Попробуй разять музыкальную гамму — и музыки не будет. Так же и здесь.

Отец не брал меня никуда с собой не потому, что не хотел, а потому, что сам никуда не ходил. Он не увлекался ни рыбалкой, ни охотой, никогда гвоздя сам не вбил в стенку, не мастерил, не рисовал и вообще перед всем, что требовало рук и умения, пасовал. Говорил, что боится рук своих. Боится, что как следует сделать не сумеет, а делать лишь бы как — не желает. Вечно он томился по совершенству, хотел видеть его во всякой пустяковине.

Другими словами, того, что надо было мне в те годы, у него не было, а то, что было, — мне было не нужно и от меня далеко. Как это ни странно, всякий мелкий ремонт по дому делался матерью. Она была мастерицей на все руки, и я, естественно, тянулся к ней. И до сих пор всем, что умею, обязан исключительно ей.

Отцовым делом была мысль. С нею он, что называется, чувствовал себя на одной ноге. И виртуозен, и совершенен. И, конечно же, глубоко несчастен.

Судя по тому немногому, что зацепила и донесла память до меня, более или менее уже зрелого, я мог бы сказать, что в истоках своих его религиозность не столько связана с семьей и воспитанием, сколько с той же мыслью, которую он, несмотря ни на что, по нашей древней русской традиции, считал началом бесовским, сатанинским. Однажды, помню, всего лишь однажды, один только раз, никогда ни до, ни после этого я от него уже ничего подобного не слышал, после очередного скандала, во время раскаяния у него вырвалось: "Я сын дьявола, а ты святая". Сказал, спохватился, вскопчил, выбежал в коридор. Я приподнял занавеску на стеклянной перегородке: он стоял на коленях лицом к стене и молился.

Разумеется, по одному этому случаю говорить с абсолютной уверенностью трудно. Но мой образ отца сложился именно в таком ключе. Отрицание. Весь путь — на отрицании, на ухищрениях, на исходах из самого себя.

— Машенька, пожалуйста, выслушай меня. Почему ты не хочешь ничего слышать? Человек не может жить без веры. Человек не может жить на две веры. Давай выберем что-нибудь одно. Хочешь, возьмем твою веру. Я смогу. Я смогу быть и иудеем. В конце концов, и Христос был иудеем... Да, был. А не хочешь — давай к нам, в нашу веру. Но на две веры нельзя... И без веры нельзя... Вот и Костик болеет...

Я лежу за ширмой, у меня катаральная ангина, жар, и слушать это отцовское полупьяное сю-сю совершенно невъяснимо. Я думаю, что и мать его тоже не слушала. Так, делала

только вид. Ей вообще никакая вера не нужна была. Она жила в мире стирок да варок, да где бы кило крупы или сахара для дома раздобыть. А вера, неверие — какая разница?

Работа — другое дело. Она была живым воплощением работы, работы и все. Даже когда мы переехали в ваш двор и отец стал дворником, его работу обычно выполняла мать. Особенно, когда надо было уборные драить или делать нечто подобное, грязное. Я сам не раз видел, как она, бывало, тяжелым ломом орудовала, разбивая в уборной оледеневшую гору нечистот и помоев. И никто ей не помогал, ни отец, ни я, ни бог, ни дьявол. До веры ли ей было?

А отец без веры не мог. Вернее, без страсти не мог. Без подъема. Без пожаров и ливней. Без них — все останавливалось, глохло, дохло.

Тишина — это смерть. И покой — это смерть. И смерть — остановка.

А страсть — это Бог, это вечное восхождение, это весь мир в тебе и ты в мире, это ты не один, это дрожь во всех членах, это всплески стихий, колокольные звоны. Зов, бег, брег, даль. Страсть — это встреча. И вера — это встреча. И вера — это страсть.

Не страх, а страсть. Хотя, впрочем, и то и другое вместе. У отца, по крайней мере.

Будучи человеком стихий и утвердившись в сознании, что мысль — порождение Дьявола, материализация игры и холода, он ушел к Богу. Наперекор, назло себе.

Как будто имена в самом деле что-то значат.

Так, по моим догадкам, начался в нем процесс подавления себя, восхождения, богоугодничества. Богоугодничества не в смысле сделки или расчета, не в смысле мудреного договора с высшей силой или корысти, а в смысле воплощения любви и прихоти, воплощения стихии души, неутолимого голода на высокое служение.

Надо ли в этой связи объяснять еще, что заставило его жениться на моей матери. Надо ли объяснять, почему он оставался верен ей до конца дней своих? Верен с совершенной неизменностью и трепетом, с одной стороны, а с другой — с совершенно невыносимыми вспышками гнева и раздражения?

Можешь ли ты понять, что означало для него чувствовать себя взаперти, в клетке, причем не день, не два, а всю жизнь — всю жизнь! — чувствовать, что он сам себя в нее загнал, сам себе ее сотворил, да еще как сотворил — из самых святых побуждений?

Я думаю, что даже его выходы в антисемитизм, под конец, правда, изрядно участвовавшие, не имели под собой никакой иной почвы, кроме приходящего чувства все той же досады и обреченности. И уж, во всяком случае, никак не были связаны с его мироощущением в целом. Так я думаю теперь... Так я думаю... Так я думаю...

Мы страшная нация, Павел Никанорович. Мы страшны! Я не знаю никого другого, кто бы мог с такой же силой, с такой же страстью мучить себе подобного во имя любви, сострадания и справедливости. Во имя добра!

Мы лицемерны. Мы на всех углах кричим о своей бескорыстности и не замечаем или делаем вид, что не замечаем, как любимся ею, собой в ней. И не дай бог, нам кто-то на это укажет. Враг номер один. Потому что нам тепло в ней, нам выгодно. Она оправдывает нашу лень, нашу никчемность и беспомощность, она дает нам возможность лелеять свою исключительность, носиться с нею, тыкать ею всем в глаза, скрывая под высокомерной ко всем жалостью раздражение и зависть.

Мы ханжи. Примат духа над плотью мы возвели в степень крайней бессмысленности, мы подняли дух на ту головокружительную высоту, когда заложенное в нем житнетворящее начало превратилось в свою противоположность — стало началом разрушительным.

Нам кажется, что мы строим себя — на самом деле, мы себя разрушаем.

Мы терзаем свою плоть запретами.

Мы боимся себя. Мы врем себе.

Мы терзаем жизнь. Мы навязываем ей какие-то идеальные черты, какое-то четвертое измерение — и злимся на нее, когда обнаруживаем вдруг, что она совсем другая, что ей дела нет до наших надумок и фантазий.

Ах, как было бы славно и чисто, и идеально, если бы, вместо мочи, простите, вонючей, из нас проливался бы, ну скажем, одеколон! Да твари живые выползали бы на свет Божий из какого-нибудь более пристойного места!

Страшные мы люди, Павел Никанорович. И отец мой был страшнее всех. И я страшнее всех. И вы тоже.

Достопочтенный сэр, господин Маккомб! Вы Россию не любите и не понимаете, так что говорить нам абсолютно не о чем.

Отца твоего все, включая нас, пацанов, звали Натаном. Просто Натаном. Дядю Митю дядей, а его нет. Ты говоришь, что не помнишь его, но фотографии у тебя, видимо, сохранились.

Черное, выгоревшее на солнце, грязное от угля лицо, огромный, картошкой, нос, с непроходящим, как у пьяницы, синевато-красным отливом, две кнопки маленьких бесцветных глаз. Сухие, тоже черные от солнца и угля руки, с крупными, налитыми прожилками. Он работал на топливной базе и был, кажется, последним в городе извозчиком. Он всегда приезжал на большой, в виде плоской платформы, телеге на резиновых колесах-скатах от грузовика.

По-моему, он никогда не пил, никогда никого не обижал

и был так же тих, беззащитен и работающ, как две запряженные в его телегу клячи. Однако во дворе его никто не любил. Мать твоя стеснялась его, а пацаны, как могли, старались нашкодить. То лошадей выпрягут, то скат проколют, то кнут уведут, то постромки порежут. Он гонялся за ними по двору, размахивал кулаками, кричал, но ничего серьезного против обидчиков не предпринимал. Только против себя возбуждал еще больше насмешек и улюлюканий.

Один дядя Митя вставал на его защиту, грозя всем, кто тронет его, не пускать к себе на порог. Он же был единственным, кто не поверил в разнесшуюся по двору бульбу о моем убийстве, о том, что будто Натан вывез в одном из своих мешков изрубленный в куски трупик Костика.

Неизвестно, с чьих уст эта злобная шутка сорвалась впервые и как вообще можно было в нее поверить. Но поверили, разнесли, донесли до ушей отца. Многие впоследствии обвиняли Малого и его мать Клавку. Оба были злы от природы, а мать, так та и вовсе вполне открыто заявляла, что евреи клюют русское тело, как стервятники. Так что не исключено, что они.

Отцу же моему много не надо было. Стоило кому-то взглянуть на меня не так, он тут же менялся в лице, готовый немедленно ринуться в бой.

Он, помню, как-то даже директора школы заставил передо мной извиниться. Причем, не просто директора, а влиятельного партийного дуба с очень партийной фамилией Тимошенко. Он преподавал у нас конституцию, и однажды на его уроке я то и дело развязывал банты у двух впереди сидящих девчонок. Он подошел и, не прерывая своего рассказа, перетянул меня указкой по руке. Рука вспухла — отец узнал, поднял бучу. Дело чуть было не дошло до исключения Тимошенко из партии.

Вообще, я не знаю. В этом случае все, вроде бы, было оправдано. Но случалось, когда отец вступался за меня без достаточных оснований. Тогда было стыдно за него и казалось, что не во мне дело, что это ему так нужно, лично ему, что он только пользуется возможностью, чтобы дать выход скопившемуся в нем гневу, разразиться, обрушиться на тех, кого он считал прихлебателями режима, прислужниками, как он говорил, "господ тюрьмодворцев".

Я не думаю, что в этом же ряду он воспринимал и твою мать, но, несомненно, своеобразный эффект психологической инерции сработал и здесь.

Картину того, что произошло в мое отсутствие, по крайней мере, в некоторых приблизительных ее очертаниях, я позже воссоздал себе по репликам различных людей. Было в них много противоречивого, но основная канва проступила, в общем-то, довольно ясно.

В тот вечер поджидавшая меня толпа пацанов где-то еще часок потопталась у парадной и разошлась. Не ушел только Ма-

льй. Он прождал меня до рассвета, видел, как пришел отец из больницы, как, побыв какое-то время в квартире, отец вышел с метлой и начал подметать двор. На вопрос о моем отсутствии Мальй, по его словам, ответил, что я, вроде бы, собирался на рыбалку с Галаем, но уехал ли, он не уверен. Судя по тому, что он еще долго вертелся около отца, расспрашивая о здоровье матери, о том, как давно отец курит, о разных других мелочах, стараясь отвлечь мысли обо мне (это тоже с его слов), можно предположить, что уже в это утро у него прорезалась провокационная идея наравить отца на Бузю, но, видимо, она была еще нечеткой и, кроме того, он не знал еще, как ее осуществить.

Помог случай.

На другой день приехал от сестры Натан, а под вечер он со своей телегой появился во дворе. На одном из мешков, которые он позже снес сверху и уложил на телегу, была кровь. Не знаю, кто ее видел, может быть, никто, кроме Малого, но говорили, что видели ее, многие. Одни говорили, что весь мешок был в крови, другие, что только два пятна, третьи — что одно пятно и одна полоса, четвертые — что пятен вообще не было, были только полосы.

Одним словом, я почти убежден, что, кроме Малого, никто ничего не видел, что кровь заметил только он и что именно в этот момент из-под его черепной крышки и выскочил на свет этот невероятный сценарий.

Весь этот день отец снова провел у матери в больнице и пришел домой, как обычно, поздно. И снова во дворе его поджидал Мальй.

Дорогой Павел Никанорович!

Несколько дней тому назад я отправил Вам письмо, совершенно недостойное, написанное второпях, под худую руку, в порыве не то злости, не то какого-то глухого раздражения, не направленного ни на кого определенно, а как-то на всех сразу, на весь мир. И в этом-то и вся, собственно, гнусь.

Сейчас вот, при трезвом размышлении, я думаю — на что оно? На что письмо, на что гнусь, на что все это? На что надо некоторую, грубо говоря, условность наших предрассудков и предписаний ставить в ряд первостепенных жизненных ценностей? Ну живем — и живем. И слава Богу. Слава Богу, что вода есть, что кусок хлеба, что листва на деревьях, что дышим.

Неужто, в самом деле, буква дороже живота?

Ну, не был отец тем, за кого выдает его политически изощренная молва. Ну, не был. Ну и что? Небо, что ли, из-за этого обвалится? Остановится жизнь?

Зато он был. Был как таковой. Был сам по себе. Был всем по себе. Жил, думал, страдал. Честнейший из честнейших! Да, да — честнейший из честнейших! Потому-то и сломался, потому-то и не дотянул.

Собственно говоря, по какому-то внутреннему, метафизическому счету он и заслужил славы.

Ну да и не в этом вовсе дело. Или... Или постойте. Только вот написал об этом — и словно молнией... Неужто, черт побери, в любом изоглавшемся, изношенном до дыр слове есть это сермяжное, запредельное, метафизическое чуть-чуть?.. Это своевольное, незаконное перемигивание правды и лжи? Непутевая маска, лукаво и весело потешающаяся над нашей претенциозной стерильностью.

— Вера... Вероника... Веруля... Перестань храпеть.

— А? Что? Я разве храплю?

— Храпишь.

— Извини, не буду.

Все есть так, как могло быть, и ничего не могло быть, что не так, ибо если могло, то было б. Если бы да кабы... Любите жизнь больше, чем любые мысли о ней.

— Вер!..

Многоуважаемый Павел Никанорович!

Несколько дней тому назад я отправил Вам письмо, написанное не вполне пристойно, под худую руку, в порыве не то злости, не то раздражения, а точнее — того и другого вместе. И хотя у меня нет ни малейшего желания оправдываться или — тем более — раскаиваться на этот счет, мне все же хотелось бы немного подробнее обосновать свою позицию.

Дело в том, что злость и раздражение, которые я все чаще в себе обнаруживаю, это вовсе не порыв, а, скорее, состояние, не покидающее меня с того момента, как я ступил на свободную землю и с глазу на глаз узнал, что такое наша русская свободная мысль. Поэтому случай с отцом не является для меня неким частным эпизодом из моей личной жизни.

В конце концов, я не столь плохо отношусь к отцу, чтобы и мне не льстило высокое слово о нем, и без особых затрат серого вещества тоже мог бы подтянуть действительное к желаемому.

Однако контекст отца, как я его вижу, гораздо шире, чем кажется на первый взгляд. Вот об этом мне и хотелось бы поговорить.

Ложь, превратившая отца в легендарного героя, — не просто ложь, а знак нашей идеологии. Не коммунистической идеологии на сей раз, а антикоммунистической. Религиозной, монархической, моральной, националистической — какой угодно, но идеологии.

Мы — самая идеологическая нация в мире. Мы действительно едины и неделимы — и с точки зрения географии (там и здесь), и с точки зрения хронологии (до революции и после).

Нас ничто не меняет, на нас ничто не влияет, и наша устремленность к вершинам по-прежнему не знает ни тревог, ни преград. Как тут, в самом деле, не возгордиться!

Мы и гордимся. Врем и гордимся. Гордимся и врем. Поэтому что там, где превыше всего гордость, без лжи уже не обойтись никак. Потому что человек слаб, уродлив, труслив и вонюч. Смельчаков и красавцев — единицы, а нашей Великой, с большой — простите за выражение — буквы, Гордости надо, чтобы ими были все. А чтобы ими были все, нужна ложь.

Солженицын призвал всех жить не по лжи, а сам лжет. Гордо и красиво лжет, как все мы, как положено.

Там врут, что старая Россия — бяка, здесь — что цаца. И там, и здесь врут из-за гордости. Гордясь врут. Идеологически. По всем правилам ленинской теории партийности.

Там нам доказывали — доказывали! по-научному доказывали! — что вся история России — это непрерывная цепь восстаний, сопротивления царизму. Здесь — тоже, разумеется, по-научному! не по какому-то марксизму, а по истинно-научному! — что история Советов — это непрерывная цепь сопротивлений советской власти.

Мой вывод: и там, и здесь и мы, и наука наша — в железных лапах Гордости.

Когда Зиновьев попытался заикнуться о том, что Советы были выгодны многим слоям нашего народа, — понятно, не по-научному заикнуться, не от лица всемогущей Гордости! — этакая предательская ересь! — его готовы были забодать всем миром.

Там — газета "Правда", здесь — газета "Новое Русское Слово". Обе горды настолько, что только из-за гордости не протягивают друг другу руки.

Я часто листаю записные книжки позднего Достоевского и теряюсь в догадках, откуда в нем, мудреце и психологе, вдосталь пожившем и вдосталь хлебнувшим на своем веку от всяких державных рыл, — откуда в нем столько партийного гнева, столько державной гордости и этого жара дешевых дежурных прорицаний: "Будущее России ясно: мы будем идти... будем идти до тех пор, пока бросится к нам устрешенная Европа и станет молить нас спасти ее от коммунистов. Станет не молить, а требовать: ибо-де вы спасаете и себя..."

Прямо, как в воду глядел! В какую только?

"Я убежден, — настаивает великий пророк, — что судьей Европы будет Россия. Она придет к нам с коммунизмом рас судить ее..."

Не знаю, как Вам, милостивый Павел Никанорович, а мне страшно. Мне страшно оттого, что мы все больны. И мы больны, и гении наши больны, и наши пророки, и все, все. И давно уже. И коммунизм — не источник нашей болезни, а следствие. Больна сама мысль наша.

Раковый корпус построен, как будто, по законам совре-

менного зодчества, но толщина его стен, но его основательность — разве не видна здесь рука наших древних умельцев и умников?

Ведь с чего начинал Достоевский? С петрашевцев, с вольности, с мечты о хрустальном дворце. Потом каторга, мертвый дом, мудрость. Хрустальный дворец не потускнел, не забылся, в нем прорезалась просто новая грань, глаз каторжанина уловил в нем мертвящий дух несвободы. "Вы верите в хрустальное здание... которому нельзя будет ни языка украдкой выставить, ни кукиша в кармане показать. Ну, а я, может быть, поэтому-то и боюсь этого здания..."

Вот так, господа коммунары! Вот так, любители великих построек, высоких правд! Я боюсь этого здания! Четко, зримо, мощно, словно сам уже в нем побывал. Я боюсь его, ему и языка украдкой не выставишь (даже украдкой!) и кукиша в кармане не покажешь.

Что же это? Гениальное пророчество? Предупреждение? Тревога? Или просто игра ума? Психопатические упражнения обиженного подпольного человека, вольнолюбивая прихоть, душевный каприз? Нате, смотрите, любуйтесь! Ненормальность — в крови планеты!..

Может быть. Все может быть. Однако, как ни крути, здесь — вызов. Вызов режимной логике, упорядоченному рабству, насилию над жизнью, в какие бы прекрасные одежды и словечки они, подчас, ни рядились бы.

И вдруг, под конец жизни — как бомба, как обухом по башке, как ожог. Самодержавие — источник всех свобод. Все. Точка. Стена! Никаких сомнений. Дважды два — четыре. Черным по белому.

Русское самодержавие — источник всех свобод!

Может быть, снова подкатил к горлу подпольный человек со своей больной, своевольной и ошарашивающей мыслью? Но нет, не похоже что-то на сей раз.

На сей раз нам не до кукиша в кармане. На сей раз можно и на ухо собственное наступить. Иначе как же увязать эту изящную, ветреную, легкрылую свободу с таким грузным, вельможным, мрачносерьезным самодержавием?

"Мы неограниченная монархия и, может быть, всех свободнее... При таком могуществе императора, мы не можем не быть свободны", — вот какие слова прокричал в наши уши стареющий Достоевский.

Но чужды ли они нестареющему Солженицыну?

Два тирана, два гения, два великих мужа Земли Русской, два стража, два кряжа наших кривд и правд! Вслушайтесь в их поступь!

Оба подымались, мужали, сгорали на сопротивлении всемогущей власти, режиму, диктатуре, оба прошли через каторгу и оба вынесли оттуда — что?! что?! что?! — неограниченное почтение к монархии и могуществу как незыблемым гарантам свободы.

Ну надо ли еще после этого стулья ломать?.. Разве ленинское откровение о том, что диктатура пролетариата и есть подлинная свобода, менее диалектично?

О чем же весь этот сыр-бор?.. И грызня?.. И копыя?..

— Свобода, а Свобода, выходи за меня замуж — я тебе теремок построю! А?..

Мы — банкроты, дорогой Павел Никанорович.

Никакой альтернативы коммунизму у нас нет. И в этом трагедь. Увлеченные прожектами будущих конституций, морщась и чертыхаясь, мы аккуратно переписываем статьи советских имперских уложений, и только энтузиазм искушенных плагиаторов мешает нам задуматься над тем, отчего же коренные пассажи пролетарской диалектики столь легко и блистательно заменяемы православной софистикой.

”Священные права человека не заключены в демократии и не вытекают из нее”, — писал Бердяев, один из крупнейших оппонентов Ленина, в своем простодушии не замечая, как это близко, как это сладостно душе вождя.

”Свободу и права человека гарантируют лишь начала, имеющие сверхчеловеческую природу...” — Не марксизм это. Теология!

Где же они, эти сверхчеловеческие начала, и как они гарантируют? А очень просто. Ложью, софистикой, диалектикой, подменой, высоким словом, мечтой, мистикой — всем, чем угодно, только бы подальше от живой человеческой нужды, туда, к ”праведному и прекрасному обществу”, где ленивая дрема Манилова и умственные упражнения философа сливаются в единую тошнотворную жвачку. Сколько можно?!

”И остается мучительный вопрос, могут ли народы прийти на этой земле к праведному и прекрасному обществу?”

Да не надо, господа генералы! Не надо мучительных вопросов! Уже настроили прекрасных обществ! Уже насиделись в них! Дайте отдохнуть, отдышаться!..

Уж лучше к бабенке под бочок, господа. Ведь жизнь так коротка! Так коротка! Или уж мы все — кастраты? А?..

— Что же отец?.. Убил ее?

— Убил.

— Перестань думать.

— Расскажи про собак.

— Зачем?

— Черт его знает. Просто иной раз кажется, что в них все дело.

— Какое дело?

— Отцово... Мое... Вообще...

— Перестань думать.

— Я не думаю.

Я не думаю, я не думаю, я не думаю... Это-то и плохо, Константин, это-то и плохо.

Умом России не понять. Я начну с тебя, Господи.
Начну с тебя... начну... начну...

У матери была одна странность, может быть, страсть. Она не выносила угрей.

Заметит, бывало, угорь — у меня ли на лице, у отца ли, — и давай его выдавливать. "Мам, ну мам, больно же! Ну отпусти, ну пожалуйста!" — куда уж!.. Проси — не проси, кричи — не кричи, вырывайся — не вырывайся — ничего не поможет. Всегда увидит, всегда подойдет, обнимет, голову ладонями зажмет, затылком ее к животу своему привалит, порой в макушку чмокнет — и пока не сделает своего дела, не отпустит, не успокоится.

И все это смеясь, играючись, с шутками-прибаутками, вроде бы невзначай, вроде бы последнее это дело на свете, и ей оно совсем ни к чему, совсем не важно и не нужно.

Но в глазах ее при этом поблескивал огонек, но часть нижней губы ее при этом втягивалась в рот и зажималась зубами, но все лицо ее при этом смешно и торжественно искривлялось, образуя гримасу — знак невозмутимого усердия, серьезности и той совершенно особенной самопоглощенности, которая не может быть ничем иным, как только обрядом, культовым действием, священнодействием.

Отец говорил: "Угре-партийный диктатор".

Отец говорил: "Угремист-ленинец".

Отец говорил: "Ряхоистка безродная".

"Да отстань же ты, лицедеевна!" — говорил отец и с покорностью мужественного любовника подставлял лицо.

Видно было, что эта процедура приходилась ему по душе, что он воспринимал ее как игру или, наоборот, сам вносил в нее элементы игры всем своим брюзжанием, напускной грубостью, недовольством. Пока мать занималась его лицом, он то и дело менял гнев на милость и милость на гнев, шутил, брюзжал, кокетничал, целовал и в то же время отстранял ее руки.

Главным аргументом матери было то, что кожа должна дышать, а угри закупоривают поры, и если от них вовремя не освободиться, то приток кислорода к телу остановится — и тогда не приведи Господь.

Я начну с тебя, Господи!

Все началось у нее с маленького прыщика на лице, как раз у основания переносицы, может быть, чуть повыше переносицы, поближе к глазу, с левой, кажется, стороны.

Ну, прыщик и прыщик — подумаешь, дела какие. Но она, очевидно, пыталась его выдавливать, причем пыталась основательно, стремясь убрать его целиком, вместе с корнем, как

убирала обычно угри. Позднее, когда щека под глазом вспухла, когда было обнаружено заражение крови, отец допытывался, так ли это, выдавливала ли она.

"Не говори глупости", — был ответ и вслед — жалобы на то, что он ей вечно не верит и вечно в чем-то подозревает.

Мать так и не призналась. Она никогда не признавалась ни в слабостях своих, ни в ошибках. И вообще, как мне кажется, никогда не чувствовала потребности в каких бы то ни было излияниях души, тем более, в самобичевании, и не понимала, на что это людям нужно.

Отца в эти минуты она выслушивала с молчаливым отчужденным вниманием. Он был своим. На чужих же — смотрела с недоброй иронией, скукой, подчас — с мало прикрытой враждебностью.

Через несколько дней ее забрали в больницу. Врачи говорили, что за жизнь ее не ручаются, что все зависит от того, насколько заражение коснется мозга.

Отец все время был, разумеется, с ней, много молился, молился даже по ночам и совсем не спал. Где-то на второй или на третий вечер он взял меня с собой в больницу. По дороге ни он, ни я не проронили ни слова. Так и казалось, он везет меня для прощания.

Увидая мать, я перепугался. У нее совсем не было лица. Не было глаз, Не было носа. Лба не было. Ничего.

Опывшая масса белой вздутой плоти. Ягодица. Яйцо. Маска, на которую забыли нанести глаза, ноздри, рот... Все, что угодно, — только не лицо.

Не понятно было, чем она дышала, чем смотрела, видела ли, слышала ли нас, но была при полном сознании. Я понял это тогда, когда, не выдержав всего ее вида, бухнулся ей на грудь и заревел. Она кончиками пальцев мягко сдавливала мое плечо, а я, преодолевая всхлипы, вслушивался в нее. Вслушивался в ее пальцы, в гулкие и мерные удары ее сердца, в четкую, несуетную работу всего ее организма — во все то, что улавливало мое утонувшее в ней, погруженное в нее ухо. И не знаю почему, но я почувствовал, помню, не то, что бы облегчение, но надежду — так по-рабочему спокойно и буднично дышала, булькала, переливалась вся ее скрытая от нас суть.

Гора, недра горы, другая планета!

Я настолько проникся надеждой, что по пути назад, домой, я даже сказал отцу:

— Все нормально будет... вот увидишь.

— Дай-то Бог, дай-то Бог, — пробормотал отец, и я впервые увидел, как он на людях перекрестился.

Не в церкви, не среди молящихся старцев, а прямо в трамвае, среди чужих, обращенных на нас лиц, военных и штатских, молодых и пожилых, партийных и беспартийных, не зная, какие они и что у них на уме.

Он поднял перст, перекрестил себя, потом меня, потом,

глядя в законное, затрамвайное пространство, мать, — я понял, что мать, именно мать, никого другого, кроме матери, там, за окном, у него не было, — перекрестил, не думая о том, что можно, чего нельзя, хотя думать следовало, потому что время, как вы знаете, было тогда во всяких послевоенных хреновинах, неладным и нескладным, с очень щедрыми доносами и арестами.

Едва он это сделал, как я почувствовал на себе взгляд какого-то остроносого очкарика в полковничьих погонах, зарделся от стыда, опустил глаза к долу и потащил отца к выходу. Но отец стоял не шевелясь.

Он, оказывается, перехватил, взял на себя этот четырехглазый взгляд полковника — и выдержал, не отвернулся.

Отвернулся четырехглазый. Отец победил.

Я не понимал тогда, где и как обрел он в тот момент столько силы, столько железа, столько губительного отчаяния. Ведь в те годы, в нашей стране, в его возрасте — а был он еще не старым, еще, как говорится, пятый десяток не успел разменять — креститься в трамвае, в общественном месте, на глазах у честных советских тружеников, ну, знаете ли, — это не только могло повлечь к инкриминации антисоветской вылазки, но и было достаточно нелепо — непринято! — в смысле просто человеческого.

Просто человеческом... просто человеческом... Просто ли человеческое?..

Умолкни. Не о том речь.

Этому просто человеческому смыслу мы обычно не придаем значения. Нам удобнее и приятней функцию зла приписывать властям, государству.

По нашей арифметике выходит, что у нас едва ли не каждый второй — диссидент, чуть ли не девяносто процентов верующих и вообще, как выразилась одна наша философия, коммунизм из сознания нашего народа изжит.

Сказками этими мы забавляемся вот уже скоро три четверти века и для пущей убедительности строим соответственно и свой словарь.

Мы материм и млеем, сквернословим и славословим, разносим и возносим. Все на крайних полюсах. Без середины, без промежутка, без мостов и перешейков, не шутя и не греша. Разве что иногда с глыбами.

Власть — сука, народ — свят. Через запятую.

Все. Баста. Конец. Тупик. Яснее и проще не придумаешь.

Власть разрушила памятники, уничтожила традиции, отняла свободу, обкорнала культуру, закабалила душу, выхолостила дух.

Народ пал жертвой. Замучен, замордован, загублен, растлен, расчленен, распят.

Что же он? — Из растяп?
Что же она? — Из жидят?

Можно быть замученным и замордованным год, ну два, ну десять. Но не семьдесят же!..

А если семьдесят, значит, что-то не так, значит, не так уж замучен и не так уж замордован. Значит, не так уж много отняла у него эта самая власть. Значит, то, что отняла, ему и не надо было, а надо было то, что дала.

То же самое и по части души и духа, и бережного отношения к национальной истории и традициям.

Попридержите страсти, господа. Полистайте советские книжные каталоги. Не пустыня там. Далеко не пустыня. Все, что надо, там есть.

И культ славянофильства, и красота дворянских добродетелей, и величие национального характера, и извечная тяга к справедливому миру и жизненно необходимому расширению границ, и забота о малых народах, и русское поле, и матрешки, и жития святых, и, конечно же, немеркнущая слава русского оружия.

Все есть, господа. Все есть. И русский дух, и Русью пахнет. И как бы ни поругивали наши соотечественники вождей за нехватки в магазинах, за пустопорожние речи с трибун, за те или иные мелочи, просчеты и промашки — с теми же вождями, шаг в шаг, плечом к плечу, едиными рядами идут они к своей заветной цели, и, косясь, посторониваются и дают им дорогу другие народы и государства.

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. И кто же из нас, господа, в самом деле, не любит быстрой езды?

Я знал одного интеллигента, который мог бесстрашно разрушить, как говорили у нас, на памятник вождя, но стоило заговорить с ним о наших танках в Чехословакии — на дыбы вставал. "Что же ты хотел, ядрена вошь? Чтобы фрицы туда вошли? Или янки?.."

Нет, господа, что-то мы не то считаем. Кто-то нам не ту колоду подсунул.

Мы все тщимся не замечать, что сочетание "народная власть" — не только пропагандистская фиговина. Наша боль и наша гордыня, и наша безысходность столь велики, что нам легче не думать, нам легче не знать, что те, кто на самом деле, замучены, — замучены именно ею. Ею!.. Ею!.. Ею!..

Народной властью! Властью народа!

Вот такушки.

Тут уже не громкие слова. Тут уже не тяжеленные политические глыбы. Не железобетонный шквал пропаганды. Тут мы с вами. Один на один. С глазу на глаз. По-свойски. По-человечески.

Задумывался ли кто-нибудь из вас, господа, почему Сахаров, к примеру, столь непопулярен среди широких трудящихся масс?

— "Что же ты хотел, ядрена вошь? Быть лучше меня? Честнее меня? Чище меня?.."

Возможно, не так грубо, не так откровенно, но все это, так или иначе, с нами, все это в нас. Все это мы, человеки. И ох, как не просто, господа, шагать с народом нашим не в ногу.

Креститься, когда он не крестится. Чихать, когда он не чихает. Тень на плетень наводить, когда он и солнышка-то, как следует, вдоволь еще не отведал.

Я не понял тогда, откуда взялось в отце столько силы, столько железа, столько безоглядного губительного гнева.

Уже потом, много времени спустя, когда с матерью все обошлось и она была уже давно дома, и о ее смертельной болезни, казалось, уже никто из нас не вспоминал, он вспомнил. И, судя по всему, помнил об этом всегда, ни на минуту с этим не расставаясь, жил им, нес в себе, как свою собственную душу.

Он говорил матери:

— Наша жизнь состоит из непрерывной цепи подстрекательств к ругани и бунту. Они испытывают нас на способность к двоедушию. Мы легко идем на ругань и бежим бунта. При этом мы не врем, не творим никакой сделки с совестью, не занимаемся сознательной подменой. Наш выбор продиктован инстинктом к жизни. Он органичен и прост, и даже, если хочешь, свободен. По существу-то, его и выбором не назовешь, ибо альтернативы ругани — бунта — мы, попросту говоря, не создаем. Мы не рабы, мы хуже — мы скоты. Раб осознает себя таковым. Скотина — никогда. У одного — надежда, у другого — жвачка...

Было яркое, солнечное, воскресное утро. Я только что продрал глаза и молча лежал у себя в закутке, за занавеской, вслушиваясь в приглушенную речь отца, боясь пошевелиться, чтобы не потревожить их интима, не подать знак о себе. Они тоже лежали еще в постели, и мое замирающее любопытство было сосредоточено не на рассуждениях отца, всегда, в общем-то, претивших мне каким-то сладковатым привкусом патетики и бахвальства, а на самом факте их лежания, на предвкушении, на ожидании чего-то такого, в чем даже самому себе было стыдно и гадко признаться.

О Боже, до чего же это прекрасно, дико, гнусно, грязно! Вкусить запрет, захлебнуться, утонуть, воскреснуть! Не глазом — так слухом, образом, воображением!..

Я не уверен, что отец говорил именно так, как я привел это выше. Наверно, не так, и, наверно, не то. И наверно, даже не там. Потому что не могли мы жить тогда в общежитии. Когда жили в общежитии, я был еще совсем мал и вряд ли много соображал. Скорее всего, это было после его увольнения, когда он служил уже в дворниках, когда у меня уже что-то проклевывалось с Бузей, когда моя большая страсть к подслушиванию и подглядыванию скрещивалась с мучительными угрызениями совести, внутренней борьбой, самоанализом. Ну да какая разница? Важно совсем другое.

Важно, что, вспоминая, я совершенно не хочу сочинять. Я вовсе не хочу встраивать высказывания отца в определенный беллетристический ряд, подтягивать их к необходимым рычажкам обстоятельств, времени и места. Мне это совсем не нужно. То, что я привел выше, он, наверняка, говорил — за это ручаюсь. Не ручаюсь же лишь за то, что именно тогда он это говорил и так.

Что же запомнилось?

Запомнилось утро. Яркое, солнечное, воскресное утро. Мы все еще в постелях. Я не сплю, но они думают, что сплю. Отец, как всегда, долго и нудно рассуждает, и из всего потока его приглушенной речи два опорных камешка попадают в мой черепной коробок и застревают там навсегда, отразившись предварительно каким-то иным свечением, иным мерцанием в этой новой для них среде, и потому не затерявшихся в общем круговороте мысли и памяти.

"Я начну с тебя, Господи", — первая донесшаяся до меня фраза отца, которая запомнилась, потому что после, в течение какого-то времени, мы с матерью мусолили ее по всякому поводу и без повода, повторяя ее в разных интонациях, шаржируя и подхихикивая друг перед другом, просто так, походя, совершенно бездумно и невинно, не подозревая, что смеемся, по сути, над отцом, объединяясь против него в своего рода заговоре.

То, что я этого тогда не понимал, еще куда ни шло, но мать — так его любившая, боготворившая его буквально во всем, — как могла она не замечать, не ощущать этого маленького, подленького, бесшабашненького предательства, которое, будь оно случайно обнаружено, ударило бы по чувствительному отцу куда сильнее любого крупного и сознательного.

Контекст фразы затерялся, забылся, а фраза осталась.

Я начну с тебя, Господи.

"Я начну с тебя, Господи", — говорил я в ответ на требование матери начать сначала только что выученное стихотворение, когда она проверяла меня по книжке, а я сбивался, путал строфы и строчки. "Начни сначала", — говорила она, и я, отлынивая и дурачась, отвечал: "Я начну с тебя, Господи".

"Я начну с тебя, Господи", — торжественно восклицал я во время купания в ответ на ее замечание о том, что мыть тело надо начинать с ушей, иначе о них позабудешь и они останутся грязными.

Мы купались обычно дома. Душевая в общежитии была открыта не каждый день, к тому же, часто в ней не было горячей воды, а когда была вода, надо было выстоять длинную очередь. В городские бани мы тоже не ходили, так как убирались они плохо, и вечная слизь на стенах, на полках, на дверях раздражала отца. Кроме того, он стеснялся оголяться на публике, был предельно брезглив и не хотел смешиваться со всяким

сбродом. Так что купались мы обычно дома, в сравнительно большом оцинкованном тазу, сохранившемся у нас еще от деда.

Я всегда купался, когда отца не было дома. При нем я бы ни за что не разделся догола. Что это было — не знаю, но хорошо помню, что это ощущение сидело во мне очень прочно и глубоко и было равно какому-то паническому страху. И как я сейчас пытаюсь вспомнить, я его тоже никогда не видел голым.

Напротив, при матери мне ничего не стоило разнагошиться когда угодно. Я купался при ней и позволял ей мыть меня в самых укромных местах чуть ли не до четырнадцати лет, и никогда не испытывал ни грана стыда, как будто так и должно.

— Не начнешь с ушей — забудешь, — поучает мать. — Ну, ты слышишь, начни с ушей!

— Я начну с тебя, Господи! — парирую я.

— Паразит! — ругается мать, ловко заарканивает мою голову и с усердием, на которое я реагирую неизменным воплем, моет мои уши сама.

При этом я смеюсь, и она смеется, и мы нежно и весело бранимся и несем в себе тайну, оскорбительную для отца. И оба не понимаем, что это нечестно: я — по недомыслию, она — по простодушию.

Постепенно игра с этой сакраментальной фразой принимает в моей зловредной башке форму маниакальной идеи. Я внаглую включаю ее даже в те разговоры, куда она совершенно не лезет, и с каким-то сладострастным захлебом заставляю и мать соучаствовать в этом натужном кривляньи.

Всякий раз, когда речь заходит о чем-либо таком, что поддается перечислению, пересказу, переделке, любому повтору вообще, "я начну с тебя, Господи" врезается в нее с маху, с пылу, с лихостью плевка, с невинной колкостью шутки. Поначалу она удивляется, но мало-помалу, неохотно, порой возмущаясь, все же втягивается в игру и выполняет мой каприз с неукоснительной точностью.

Я начну с тебя, Господи. Я начну с тебя...

Я начну с тебя, Господи, не зная, есть ли ты или тебя нет.

Если ты есть, то тебе лучше моего известно, что мое сомнение — это целиком твоя воля, твоя прихоть, твое творение, — и ты не можешь быть за это в обиде.

Если тебя нет, то им лучше моего известно, что вся их жизнь, построенная на тебе, которого нет, — чистая ложь, ибо кому же, как не им, так много и долго тебя изучающим, тобой козыряющим, тобой помыкающим, — кому же, как не им, надлежит это знать.

Я хочу верить в тебя, Господи, — и не могу, как не могу и не верить.

Твоим именем люди истребляют друг друга, твоим же именем они друг от друга себя и спасают. Но и без твоего имени они делают то же самое.

И если все это — твоя воля, то правы те, кто восстал против тебя, равно как и те, кто поет осанну тебе и призывает к смирению перед тобой. Ибо никому не дано знать то, что находится за пределами знания: твое бытие или твое небытие.

Правы те, кто в беде и нужде видят знак, отрицающий твое бытие. Но правы и те, кто в беде и нужде видят твою руку, карающую за неверие. И снова, потому, что природа твоя темна и никому не известно, что есть ты: игра ума человеческого или высшая сила, самотворящая и самоуничтожающая, уходящая в бесконечность или в ничто. Ибо и творить — значит уничтожать, и уничтожать — значит творить, и ни одно из них без другого не имеет смысла.

Перед твоим бытием или небытием, Господи, отступает все: и всесильная логика опытного знания, и уловки моральных предписаний, и последнее требование неискушенной веры, и неукротимое неверие.

И если твоя воля исторгать из людских душ веру в тебя, то исторгать из них неверие — тоже твоя воля. Ибо ты един, если ты есть.

И самой страшной карой твоей, если ты есть, оказалось для людей вот это "если" — твоя мерцающая личина, твой неуловимый образ, явленный людям на зыбкой меже бытия и небытия, да и нет, реальности и рефлексии.

Ты поставил людей перед властным соблазном и необходимостью самим дописывать и дорисовывать твой образ, и тем бросил в бездну. Ты наделил их способностью выбирать, но захотел еще, чтобы выбор творился с именем твоим на устах, безразлично что несущих тебе: проклятие или признание.

Однако, все это уже, может быть, не твоя вина.

Все это уже, может быть, проделки нашей собственной фантазии, преломленные крики живота, страха, корысти, ограниченности.

Ибо кто сказал, что ты есть средоточие доброты? Или, напротив, жестокости? Или вообще нечто такое, что измеряется по незыблемой шкале наших моральных зазубрин и заглушек?..

Это мы, люди. Это наша претензия, наша попытка вообразить тебя в некотором роде, роли, лике. Попытка отыскать твой код, роая в собственном дерьме.

Но опять же, если ты есть, то не предполагалось ли и это в твоём замысле мира как одно из его святых и непреложных свойств?..

- Понятный Бог — уже не Бог, а камень преткновения.
- Массам нужны простые и понятные Боги.
- Послушайте, почтеннейший, не дергайтесь с вашими массами. Я говорю о познании.

— Если бы ты тогда померла, я бы тоже не стал жить, — сказал отец в то воскресное, яркое, солнечное утро.

Костя только что продрал глаза и молча лежал у себя в закутке, за занавеской, вслушиваясь в то, что происходит между отцом и матерью, боясь пошевелиться.

— Я знаю.

— Нет, я серьезно.

— Я знаю. Потому-то и живу еще... и жива...

— Я серьезно так думал. Думал, не дай Бог — и точка...

И мне жить незачем... Но сначала, я решил, я им тоже что-нибудь натворю... Наберу бульжников полную корзину, приду к обкому и поразбиваю в нем все окна, потом подожду.

— Обком?

— Да. Причем, не тайно, не тихой темной ночью, а открыто, шумно, среди бела дня... Мне было все равно... Страшно признаться, но бывали минуты, когда мне даже хотелось этого... Я ходил по улицам, как последний безумец... Ходил и думал только об одном... Только об одном. Как отомстить? На ком сорвать злобу?..

— Не говори так. Не надо. Ты не злой...

— Не злой?.. Ах Машуня-Машуня, ничего-то ты не знаешь...

— Ничего-то ты не понимаешь, — пародийно продолжила за отца мать, решив, очевидно, что его тяжелой серьезности на сегодня хватит.

И отец понял это и принял.

— Да, — виновато согласился он и с притворной галантностью добавил, — и да будет вам, сударыня, известно, что во мне больше злости, чем во всех злодеях мира вместе взятых.

— Ах, как страшно!

— Забодаю, забодаю, забодаю!..

— Па!..

Это подал голос Костя.

— Папа! — повторил он настойчивее и громче, вдавливаясь голыми лопатками в щербатую стенку дома.

Напротив, через дорогу, полыхал обком. Пламя широкими лентами рвалось во все стороны, вздымалось в небо, угрожающе шипело и трещало. В несколько мгновений все это старинное здание со всеми его колоннами и портиками занялось сплошной оранжево-синей завесой огня. Из высоких, перекрытых огнем окон одна за другой выпрыгивали белые козы и, объятые страхом, мчались на Костю. Он все глубже вдавливался в щербатую колючую стенку дома на противоположной стороне улицы, пробуя пяткой узкий выступ камня, а вывернутой назад рукой пытаясь дотянуться до ближайшего подоконника.

Между тем, козы окружили его уже плотным полукольцом и всем стадом все ближе и ближе подступали. Передние то и дело вскакивали на дыбы, перебирая копытами воздух, грозясь, бычась, наставляя на него свои острые, наполовину срезаемые рога, бляя и лая по-собачьи.

Охваченный ужасом, Костя смотрел на пожарище, на белые спины коз, запрудивших всю улицу, и не видел ни одного

человеческого лица. Людей не было. Бушующая завеса пламени и козы, и осатанелое блеяние, и собачий лай, и его, Костин, застревающий в горле крик.

— Па-па! Па!..

Тяжелая волосатая рука подхватила его и втянула в окно. Он очутился в большой пустой комнате. Очкастый полковник, тот самый очкарик в полковничьих погонах, который вьелся в них взглядом тогда в трамвае, стоял перед ним, и из-под его подстриженной ежиком шевелюры торчали два маленьких не то рога, не то клыка.

— Ты знаешь, кто поджег обком?

— Д-да...

— Отец?

— Па...

— Твой отец — враг народа.

— Па-а...

— Он диверсант и предатель.

— Па-ап!..

Полковник угрожающе приближался. Костя, отступая, зацепился за что-то, упал на задницу, подперся руками. Полковник наклонился, полез на него. Мятое старческое лицо со впалыми, до посинения выбритыми щеками, толстые стекла очков, ежик и два маленьких крепких не то рога, не то клыка.

— Па-паааааа!..

— Проснись... проснись...

Костя открыл, наконец, глаза. Над ним склонился отец и тряс за плечи.

— Проснись! Что с тобой?..

— Я есть хочу, — сказал Костя, почти не раздумывая, вскочил на ноги и, минуя отца, прошмыгнул к матери.

Было яркое, солнечное, воскресное утро.

Хрена вам, господа! Не было этого!

Круговая порука сиротства — была. Круговой поруки фискальства — не было. Брат — на брата? Жена — на мужа? Сын — на отца?!

Черта с два!

Сосед на соседа — еще куда ни шло, сослуживец на сослуживца — пожалуй. Тут шла борьба за выживание, за карьеру, за жилплощадь, тут вступали в силу обычные законы земного притяжения, законы брюха и страха, зависти и тщеславия. Не я его, так он меня. Своя рубашка ближе к телу. Тут было не до идей. Идеейные доносчики жили, по преимуществу, на страницах газет, выполнявших свои ударные пятилетки по клепанию врагов народа.

Что касается семьи, то в ней, попросту говоря, делить было нечего. Если и была рубашка, то одна на всех. В особенности у нас, в нашем дворе, в нашем переулке.

Не власть, а грязь нас объединила, засранные туалеты, по-

мойные ведра, мат, ссоры и драки, голод.

Павликов Морозовых среди нас не было.

Я сомневаюсь, были ли они вообще, по крайней мере, в наше послевоенное времечко. Кто из нас может назвать еще одно такое имя? Боюсь, что никто. Тогда стоит ли вообще говорить об этом как о массовом зле?

Загадка. Для меня загадка. Кому взбрело на ум взвинчивать цену на этот залежалый стершийся пятак, столь полюбившийся и советчикам, и анти? Я лично не знал об этом Павлике чуть ли не до самого университета. То есть, имя-то знал, конечно, — мало ли героических имен втыкалось в те годы в наши непутевые головы? — но числил в одном ряду с Матросовыми и Кошевыми, думал — такой же герой войны, как и они все. И все.

И все, и все, и все.

И то, что наша жизнь делилась на дом и школу, на мат и лозунг, на дядимитино подземелье и пионерский сбор, — отнюдь не означает, что мы жили двойной жизнью. Мы так жили. Мы не носили в себе парадный подъезд, когда дрались или раскуривали бычки в подворотне. Не носили... не носили... не носили...

— И увидел Господь, что велико зло человека на земле и что вся склонность мыслей сердца его только зло во всякое время. И пожалел Господь, что создал человека...

— Вот как?

— И сказал Господь: истреблю человека, которого Я сотворил, с лица земли, от человека до скота, до гадов и до птиц небесных, ибо Я раскаялся, что создал их.

— Вот как?

— И увидел Бог землю; и вот она растленна, ибо извратилась всякая плоть свой на земле.

— Вот как?

— Смешно, не правда ли? А ведь и Ему неведом был смысл, пока не воплотился.

— Хм... Ну а сами-то вы в Него верите?

— Как вам сказать?... Среди неверующих — верю, среди верующих — нет.

Весь этот день и почти всю ночь отец снова провел у матери в больнице и пришел домой, как обычно, поздно. Уже перед рассветом. И снова во дворе его поджидал Малый.

Малый, конечно же, — стервец и шакал, и ни одному его слову верить нельзя. Но говорил он об этом на суде и точно так же рассказывал об этом Косте, и в обоих случаях в его тоне было столько плаксивой искренности и самобичевания, что черт его знает. Не знай его Костя так хорошо, он мог бы ему поверить, настолько логически верно и складно он излагал свою версию.

Версия Малого...

Он отнюдь не поджидал отца в то утро. Он в то утро оказался во дворе совсем по другой причине. Ему нужен был Натан, вернее, не Натан, а мешок, тот мешок, со следами крови, который он углядел накануне. Ему нужен был окровавленный мешок как последняя и единственная улика, ибо теперь, по истечении двух суток после Костиного исчезновения, он ни капельки не сомневался, что они убили его. Натан и Буза.

Он сомневался вначале, сомневался еще вчера, сомневался и вместе с тем подстегивал себя, заряжал, возбуждал. Просто так, для шухера, из-за какого-то мстительного и оскорбленного самолюбия.

Вчера еще он знал, что все это он сам выдумал, что этого быть не могло. Не могли эти худосочные жидята, сами всего "страшавшиеся", на мокрое дело решиться. Все это — "чистая параша".

Такое чистосердечное признание всех подкупало и мешало не верить тому, что, по его словам, он чувствовал потом.

Он не представлял себе, что его выдумка пойдет так далеко, что пройдет еще день — и он, действительно окажется во власти сильных подозрений, в ситуации, когда он почувствует себя настоящим чекистом.

И в самом деле, чудес-то не бывает. Он своими глазами видел, как Костя вошел к Бузе, и вот прошло уже двое суток, а Кости все нет и нет. Где он? Сомнений уже не было. Было не до баловства, не до выдумок, не до надуманных поклепов. Пахло кровью.

Мешок надо найти во что бы то ни стало. И он найдет его. Только он, Малый, и найдет. Но как?

Он проснулся среди ночи, как от толчка. Никогда не просыпался, а тут словно кто-то поднял его силой. Если бы он верил в загробную жизнь, то подумал бы, что это душа убитого Кости постучалась к нему среди ночи, — так явственно было это ощущение силы, внешнего толчка, который его разбудил. Правда, вчера перед сном он решил, что встанет рано, подкараулит выходящего на работу Натана, втихую пойдет за ним, выследит, где он работает и там, на одном из складов, средихлама и мусора отыщет этот чертов мешок, неоспоримую улику.

Он боялся, что проспит. Но вот не проспал. Какая-то сила позаботилась, чтоб не проспал. И это еще больше подогрело его уже и без того не в меру горячее воображение.

Он вышел на крыльцо, присел на корточках под дверью, зарыл голову в колени и, пожевываясь от предутреннего холода, поглядывая одним глазом в сторону Бузиного флигеля, стал ждать.

Он ждал недолго. Когда появился Натан, он проследовал за ним до подъезда и потом в подъезде до тех пор, пока тот не ушел за ворота, на улицу. Потом еще немного по переулку, потом один квартал по Чкалова до Преображенской. На углу Натан остановился. Малый решил, что он ждет трамвая. Все шло

пока в норме, как и было задумано. Сейчас подойдет трамвай, Натан культурненько войдет в вагон, а Малый культурненько подцепится на подножке.

Но трамвай подходили один за другим — они всегда, когда людей нет, гоняют так один за другим, — а Натан не уезжал.

Наконец подкатила какая-то чахлая допотопная полторка, Натан забрался в кузов — и ту-ту! — поминай как звали.

Малый остался с носом.

Он потоптался еще с минуту в досаде и — что делать? — полпелся назад домой. В это-то время и вернулся из больницы отец. Малый уже подходил к своему крыльцу, но перед тем, как войти в квартиру, машинально оглянулся и увидел входившего во двор отца.

Так что он не поджидал отца. Напротив, первым инстинктивным движением его было "с глаз долой", нырнуть за дверь, исчезнуть. Но что-то заставило его стоять, он словно снова ощутил скрытую волю той же силы, которая ночью так властно подняла его с постели.

А между тем, отец уже поравнялся с ним, но ни слова не сказав, даже не кивнув, как будто Малого и не было, прошел к себе в беседку. Всунул ключ, тихонько повернул, придержал одну половину двери, потянул за другую и, оставив дверь отворенной, скрылся в полумраке коридора.

Малый не знал, что делать. Он хотел было двинуться вслед и разом выпалить всю правду, но не смел. Если то, что он знал, — правда, то она сама раскроется. И нечего лезть вперед батьки. Да, может, и вообще вмешиваться теперь уже не стоит.

Пока раздумывал, пока колебался, не заметил, как тяжелая фигура отца оказалась в шаге от него и уши прошиб резкий, чуть хриловатый звук.

— Где Константин?

— Что?

— Где Константин?

— А я откуда знаю?

— Ты не знаешь?

— Нет.

— Не врешь?

— Не знаю.

— Что не знаешь?

— Не знаю, где Костя.

— Ну ладно, будет тебе ежа изображать — давай по душам...

Отец коснулся плеча Малого, слегка сдавил, потянул книзу, как бы приглашая присесть. Малый вывернулся, отец опустился на уступ крыльца сам.

После войны бессонница пришла к дяде Мите как норма. Она не мучила его, не изматывала, как других людей, — он просто любил не спать. Или наоборот — спать не любил. "Еще наспимся, будьте мне уверочки", — часто говорил он и ссылками

на академика Павлова доказывал, что человек спит до жизни и после жизни, а в жизни ему положено жить, а не спать.

Жить, а не спать. Жить, а не спать. Жить, а не спать...

Только то утро озаряется рассветом, в которое ты проснулся. Американцы говорят.

Для которого ты проснулся. В которое ты проснулся. В которое, для которого...

Only that day dawns to which we are awake.

Дядя Митя подошел к окну в тот момент, когда отец, приглашая Малого присесть, положил ему руку на плечо. Он видел, как Мальтий увернулся, как отец присел. Он наблюдал.

Он предчувствовал недоброе и наблюдал.

Вчера вечером Мальтий плел нечто вроде того, что пора, мол, действовать, что Костика не воскресишь, что надо их застукать, что пока мы здесь чухаемся, они, мол, заматают следы. Дядя Митя отмахивался от него, как от назойливой мухи, но про себя решил: он сам пойдет к Бузе и все разузнает. Куда девался Костя? Что и как? А отцу сказать все же надо — в этом Мальтий прав.

Дядя Митя подвязывался фартуком, готовился к работе. Еще на прошлой неделе Павлик подкинул ему пару драных сапог с женой фабрики, а он до сих пор еще с ними возится. Если и в это воскресенье он не поспет к толкучке, придется снова разговляться одним лучком да водичей.

Он готовился к работе и наблюдал за отцом и Малым. Он подвязал фартук, достал клубок драгвы, намотал метра с два на руку, отрезал, раздвинул занавеску, чтобы и с сидячего положения было видно, и уже готов был сесть за верстак, как вдруг увидел, что отец вскочил.

Отец вскочил, как ужаленный. Вскочил, вцепился в Малого и стал лихорадочно его трясти.

Когда дядя Митя подбежал к ним, отец хрипел:

— Кто?! Кто убил?!

— Бузка, — резко и зло выпалил Мальтий, срывая с себя отцовы руки.

— Не верь ему! Не верь, Петро! — крикнул дядя Митя, но отец уже не слышал. Он рванулся к лестницам и второпях спотыкаясь, падая, помогая себе руками, как зверь на четырех лапах, вмиг оказался на балконе, у Бузиных дверей. Здесь нагнал его было дядя Митя, который бросился вслед за ним, но удержать отца ему не удалось.

Отец с разбегу, гараном снес дверь, влетел в комнату.

Я не знаю.

Я, Розалия, точно не знаю, что произошло там, за взломанной отцом дверью. То есть, я писал об этом в своей "Марии", это верно. Но рассказ есть рассказ, и с достоверностью у него свои, особенные счета и отношения.

Правда, версия, описанная в "Марии", почти буквально совпадает с версией суда, хотя о суде, как известно, я в ней даже не упоминаю.

Ты знаешь эту версию.

Ворвавшись к Марии с криком "где мой сын", отец ухватил ее за сорочку и начал стаскивать с постели. Сопротивляясь, она сумела как-то вскопчить на ноги прямо на кровати и отступить к стене, инстинктивно, видимо, полагая, что так отец ее не достанет. Но отец достал. Он подтащил ее к себе и тут же силой отбросил назад, к стенке. Она ударилась головой и, падая, напоролась виском на острую спинку кровати.

Кто подкинул эту версию следствию — не знаю. Она как-то сама по себе оказалась у всех на устах, все ее в таком виде и пересказывали. В таком виде она и на суде сыграла роль смягчающих вину обстоятельств. Акта прямого убийства обнаружено не было.

Если бы было, расстрела — не миновать.

Честно признаться, до недавнего времени я тоже принимал эту версию за чистую монету, потому и взял ее в рассказ. Она казалась мне достаточно правдоподобной и вместе с тем отвечающей характеру отца, его сентиментальной, буйной, взрывной ранимости.

Это верно, рассказу не безразлично событие, но как оно протекает, это уже дело автора. В "Марии" меня интересовало не как произошло, а что произошло. Факт.

Теперь совсем другое дело. Другое дело, Розалия... Совсем другое... Совсем...

Теперь, Розалия, совсем другое дело. И состоит оно, собственно, в том, что я никак не могу поверить, будто тебе не известны до сих пор показания твоего собственного отца.

Согласно его показаниям, мой отец вообще не прикасался к твоей матери. Не успел. Когда он вломился в вашу комнату, мать была уже мертва. Она сама разбилась. Она вскочила спросонья от дикого шума и треска взламываемой двери, машинально от страха отпрянула назад, к окну, споткнулась при этом о ночной горшок и, падая, напоролась на острый край табурета.

Снова "острый край". По одной версии — кровати, по другой — табурета. В одном случае — с удара отца, в другом — сама.

Малый утверждал, что отца твоего дома быть не могло, что он самолично проводил Натана до трамвайной остановки, намереваясь выследить его и найти тот злополучный мешок.

Дядя Митя молчал. Все его разговоры со мной на эту тему неизменно обрывались на том, как он вслед за отцом оказался в вашей комнате. Почему бы тебе не вспомнить? Сколько тебе тогда было? Лет пять? Меньше?

Кому верить, Натану или Малому?

Дядя Митя подтвердил на суде, что когда он вбежал в вашу комнату, твой отец был там. Натан был в это время дома, он был в это время подле твоей матери, пытаюсь приподнять ее, словно она была еще жива. Если бы суд принял во внимание показания этих двух важнейших свидетелей, — твоего отца и дяди Мити, — мой отец был бы, возможно, оправдан. Но советский суд, как пошутил один высокий чин, не может идти на поводу у свидетелей, которые призваны помогать суду, а не мешать.

Натан и дядя Митя мешали. На свет божий были выгашены отцово происхождение, его моральный и политический облик, его увольнение из техникума, — в общем, все.

Нашлись свидетели, которые показали, что он отравлял сознание советской молодежи религией, допускал рукоприкладство, издевался над женой и сыном, был исчадием ада, прятал под шевелурой рога, и, конечно же, тормозил движение нашего общества вперед.

Не суд судил его, не закон, а мораль. Костлявый сифилитик с орлиным взором.

О Господи, если б это было так! Если б было так!.. Если бы... Если бы...

Но если это было и не так, Розалия, если твой отец солгал, то почему. Почему ему понадобилось выгораживать убийцу? Причем, убийцу, который отнял у него самого близкого человека, жену. Почему ему понадобилось выгораживать того, к наказанию которого он, казалось бы, должен был стремиться? И не просто выгораживать — тут-то и зарыта собака, — а подставлять под удар свое собственное алиби?

Вдумайся, Розалия!

Ведь что выходит? Выходит, если Бузя, смертельно поразила себя еще до того, как там появился мой отец, то вопрос о невинности твоего отца отнюдь не праздный. Тем более, что ревность, которую он мог тяжело переживать, узнав, что Бузя изменила ему с каким-то сопливым пацаном, могла бы послужить обвинению вполне серьезным основанием.

К примеру, моя мать — да это и понятно в ее положении, — как только до ушей ее донеслись признания твоего отца, она тут же забубнила, что это он сам и убил ее.

И дома, и много лет спустя она то и дело повторяла: "Натан, Натан убил ее. На твоём отце чужая кровь".

Я не верю в это. Не допускаю, чтобы мысль о возможности вызвать подозрение к себе пришла к нему, и он ею пренебрег. А прийти она могла только в том случае, если б это было так, если б он действительно сам убил.

Вот почему я и говорю, что не верю в это. Хочу думать, что не верю в это. И не верю, главным образом, потому, что вероятность такого подозрения существует.

Да, да, именно потому, что вероятность этой версии существует, она нелепа... нелепа... нелепа...

Нелепа ли?

— Если бы ты тогда померла, я бы тоже не стал жить.

— Я знаю.

— Нет, я серьезно так думал. Думал, не дай Бог — и точка. И мне жить незачем... Но сначала, я решил, я им тоже что-нибудь натворю... Наберу булыжников полную корзину, прийду к обкому и поразбиваю в нем все окна, потом подожгу.

— Обком?

Многоуважаемый господин Маккомб!

Мне неизвестно, что передавала Вам Розалия, но это было явно не то, что она должна была Вам передать.

Вы напрасно нервничаете. Я вовсе не собираюсь идти на попятную и "отбеливать" отца. Не собираюсь — хотя бы потому, что в этом нет нужды. В моем сознании он всецело бел.

Однако суть дела не в этом.

Вы вот употребили слово "отбелить", в то время как по смыслу требовалось "обелить". Это нормально. Вы иностранец, русский язык для Вас чужой, а чужой язык всегда труден. Я, к примеру, в английском языке допускаю, очевидно, еще большие ляпы — и ничего, все сходит. Так что никаких претензий к Вашему русскому у меня нет, и при других обстоятельствах об этом и упоминать бы не стоило.

Ваша, повторяю, для иностранца пустяковая лексическая ошибка навела меня на мысль несколько иного плана.

Я подумал, почему нельзя сказать так, как Вы сказали. Почему нельзя "отбелить отца", а можно — "обелить отца"? Ведь корень один и тот же. Смысл один и тот же. А поди, "обелить" — верно, а "отбелить" — неверно. Зато белье можно отбелить, но не обелить. А если говорить о стенах, то они не хотят знаясь ни с тем, ни с другим: не "обелить" и не "отбелить", но — "побелить". Стены можно побелить.

Черт знает что, не правда ли?

Никакой знаток не объяснит. Никакая логика не поможет. Но знает любой русский.

Знает на слух, на вкус, на ощупь. И это знание дано ему вместе с глотком воды, с дыханием, — непосредственно. Вне науки, вне морали и, если угодно, то даже вне эстетики, потому что любые отношения языка и эстетики в основе своей тавтологичны. Он прекрасен для посвященных, для его носителей. И напротив — может звучать уродливо и дико для инородца, для чужестранца.

Не по таким ли точно законам живет и развивается язык культуры в целом? Язык души? Язык оценок? Язык выбора и предпочтений?

На этом фоне, вдумайтесь в то, что Вы пишете о России. Вроде бы все логично, все по натуре, все на основе определен-

ных данных, на основе определенных моральных посылок, но пустяковый перекосяк — вместо "обелить", "отбелить" — и русскому режет слух. Потому что не так это, неверно это. Потому что в вопросах культуры и души любое "чуть-чуть" меняет картину и подчас весьма и весьма существенно.

Простой пример. Вы пишете, что деспотизм советской власти — прямое наследие царизма и крепостничества. Звучит красиво и эффектно, ничего не скажешь. Но что это должно означать?

И то, и другое — одной природы? Может быть.

Одно — неизбежное следствие другого? — Чуть! Перекосяк!

Отбелить — не обелить!..

По Вашей логике выходит, что человек, с детства битый, должен полюбить плетку навечно. Нелепость очевидная, и я уверен, что Вы так не думаете, когда речь заходит о французе, немце или о ком бы то ни было еще. Но о русском? — Почему же не поупражняться в острологии? Русский-то ведь — раб по природе! Еще бы!

Да будет Вам известно, милостивый сэр, господин Маккомб, что в истории России было не больше рабства, чем в истории любого другого народа, и говорить о том, что оно определяет неприятие русскими демократических институтов правления, значит многого не понимать, не видеть и не хотеть видеть.

Штудирова русскую мысль, Вы хорошо знаете, как остро обсуждает она вопросы свободы и несвободы, как болезненно чувствительна она к ним и с каким непорочным юношеским максимализмом пытается найти синтез свободы и морали, примирить непримиримое, обуздать хаос корыстной плоти и зверства.

Или, по-Вашему, все, что свободно, — морально?

Если так, то наши языки, сколько бы мы ни изучали друг друга, действительно никогда не пересекутся.

Оглянитесь на собственный дом. Вглядитесь серьезно в режимы сегодняшних свободных демократий — образцы, перед которыми мы, беженцы из проклятой коммунистической России, почему-то не млеем, а напротив — как-то неуклюже и стесняясь, выкобениваясь друг перед другом, — онемело разводим руками.

Вы морщитесь, вас оскорбляет, что слово "режим", напроць скрепленное с диктатурами, я употребил по отношению к свободным обществам. Ну что ж, я сделал это намеренно. Потому что режим рынка господствует в них над всем: и над свободой, и над демократией.

Это, по сути, рыночная свобода. Жаркая, жестокая, безличная. Ярмарка хитрости, изворотливости, барыша, своего кармана. Ведь теперь-то мы это уже знаем. Это там, оттуда, издавека нам все казалось коммунистической пропагандой. И двадцать миллионов взрослых американцев, не умеющих чи-

тать и писать, и массовая бездомность, и могущество денежного мешка на свободных демократических выборах, и разгул сытого животного бездушия.

Нет, я не хочу сказать, что свободная демократия хуже советской диктатуры.

Я лишь хочу сказать, что русская мысль, судимая и судящая, смиренная и восстающая, бросающаяся из одной крайности в другую, обретается не в безвоздушном пространстве. И что если она чем-то больна, то не рабством, а детством.

Она все еще в пеленках совести. Она все еще, как ребенок, стыдлива, застенчива и бескорыстна. Ей все еще страшно признать, что идеализм и цинизм — две стороны одной и той же медали.

— Ну причем здесь свобода! Ну как им, сукам, не стыдно сообщать по телевизору о том, что президенту операцию на жопе сделали, да при этом на весь экран рисовать его задний проход!..

— Послушай, Константин... Хочешь? Послушай. Это Ремизов рассказывает о Розанове:

"В.В. рассказывал за чаем заграничный случай: о преимуществе русского человека. Были они все за границей — и Варвара Дмитриевна и все дети — Таня, Вера, Варя, Надя, Вася и Александра Михайловна, падчерица. И случился такой грех: захотелось В.В. в одно место, а как спросить и не знает. А Александра Михайловна отказывается, говорит, ей неловко. Да терпеть уже нет возможности, он под себя и сделал. Господи Ты, мой Бог, в отеле брать белье отказались, хоть сама мой! А главное — так стали смотреть все, что пришлось Розановым переехать. А когда то же самое случилось и в Петербурге: не удержался и обложился — с каким сочувствием отнеслись дома, прислуга. Сколько сердечности и внимательности. Ведь это ж несчастье с человеком!" Ну, что скажешь?

— Говно — Ремизов.

— Ты Чернышева нашего помнишь?

— Володьку?

— Да.

— Ну?

— Ты помнишь, как однажды он тоже в штаны наложил. Он же один мужик на всю группу был. Они как-то с уборочной возвращались. Полный автобус девок — и он. Его всю дорогу поджимало, а сказать, машину остановить стеснялся. Не помнишь?

— Нет.

— Ну как же? Все общежитие после этого еще с добрый месяц ходуном ходило. А Чернышев взял академический отпуск и на год домой укатил.

— Что поделать?

В нужный момент щит не выдержал. Низменный образ собачьей случки смял, опрокинул все. Смущенный организм перепутал функции. Накладка. Стыд. Конец мира.

Природа тупа и однозначна, дорогой Павел Никанорович. Наша изоглавшаяся культурочка ей ничо чем. Она не делит мир на высокое и низкое. Она бесстыдна

Что же потом? А так, пустячок.

Гибель Бузи и гибель отца.

Я понимаю, Павел Никанорович, я смешон. Я похож сейчас на того чеховского героя, который выставлял оценки нашей литературе по поведению. Да, я смешон. Литература здесь не при чем. Мы все здесь не при чем. Тогда где же мы при чем?

В чем же мы при чем? В том, что не блудим, а блюдем и красным словом сопли скрашиваем?

Разве не об этом, к примеру, вдохновенные ритмы "Крейцеровой сонаты"? Вершины. Зеркала всей нашей очень душевной истории и не менее душевной революции. Вы только вслушайтесь, Павел Никанорович. Вслушайтесь.

"Ведь что, главное, погано, — начал он, — предполагается в теории, что любовь есть нечто идеальное, возвышенное, а на практике любовь ведь есть нечто мерзкое, свиное, про которое и говорить и вспоминать мерзко и стыдно. Ведь недаром же природа сделала то, что это мерзко и стыдно. А если мерзко и стыдно, то так и надо понимать. А тут, напротив, люди делают вид, что мерзкое и стыдное прекрасно и возвышенно".

Ну не суки ли эти люди? Ну в самом деле, ну как же так можно, господа! А еще говорят, человек — царь природы.

"Ведь вы заметьте, животные сходятся только тогда, когда могут производить потомство, а поганый царь природы — всегда, только бы приятно. И мало того, возводит это обезьянье занятие в перл создания, в любовь".

Вот так, дорогой Иван Никанорович.

Помните хрестоматийное, пушкинское? Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман.

Смело. Не так ли?

Я говорю без иронии на этот раз. Я действительно ничего более смелого на нашей почве не знаю. Разве что Розанов? Так его мало кто читает.

Но я и не это хочу сказать. Я хочу сказать, что не в том дело, что нас возвышающий обман дороже нам низких истин. Я хочу сказать, что наше детство слишком затянулось, что само деление мира на верх и низ чревато пустыней, бездной, гибелью.

Я хочу сказать, что вполне вероятно, что сама евангельская притча эта доставлена нам на рожках очень шустренького и очень умненького чертика. Или просто черта. Или дьявола. Или кого-то такого, кому мы отнюдь не по душе. Потому что мы и есть низ, и там, где нет низа, — нет нас. Потому что, если и не хлебом единым жив человек, то без хлеба он и вовсе не жив.

Да, да. Именно так я и хочу сказать. И если Вам все еще

не ясно это, то, пожалуйста, перечтите сказанное еще раз. И еще... И еще...

- Что же ты?
- Что же я?
- Ты.
- Я трамвай.
- А трамвай?
- А трамвай — поле.
- А поле?
- А поле — Бог.
- А Бог?
- А Бог — Дьявол.
- А Дьявол?
- А Дьявол — собаки.
- А собаки?
- А собаки — обком.
- А обком?

— Думал, не дай Бог — и точка. И мне жить незачем... Но сначала, я решил, я им тоже что-нибудь натворю... Наберу булыжников полную корзину, приду к обкому и поразбиваю в нем все окна, потом подожду.

— Обком?

— Да. Причем, не тайно, не тихой темной ночью, а открыто, шумно, среди бела дня... Мне было все равно... Страшно признаться, но бывали минуты, когда мне даже хотелось этого...

Ну Розалия, ну уймись же ты там, наконец, со своим Маккомбом! Ну сдалось вам в одну глотку долдонить. Обеляю! Обеляю!.. Да никого я не обеляю!

Сказано: отец в этом не нуждается. И нечего так надрываться.

Что касается меня, то я рассказал тебе о различных версиях того, что случилось в то утро в вашей комнате вовсе не потому, что верю в них. Как раз наоборот.

Я не верю ни тому, что говорил твой отец, ни тому, что говорил дядя Митя. Кстати говоря, дядя Митя по большей части молчал. Он только подтверждал версию о падении на угол кровати, да и то на суде, в разговорах же вне суда он был нем абсолютно. Но я не верю, повторяю, никому. И уж тем более не верю больному воображению моей матери, в сердцах, в состоянии крайней растерянности и муки заподозрившей твоего отца.

Все это выглядит, как из дешевого детектива.

Почему молчал дядя Митя? Почему подтверждал явную нелепицу? Потому что не умел врать. Потому что хотел спасти отца от вышки. Вот и ухватился за идею об острие кроватной спинки, на которую, якобы, падая, напоролась твоя мать.

То же самое Натан... Великая душа — твой отец. Добрый,

чистый гений, со злодейским красным носом-картофелиной и угольно-черными руками. Какая уж там ревность? Какое уж там убийство на почве ревности?

Он в жизни своей, видно, мухи никогда не тронул. Жил, вкалывал с утра до ночи, тащил копейку в дом. Вот и вся ревность его была, и радость, и праздник. И сколько души и самоотреченности надо было укорениться в нем, вьестся в его поры вместе с угольной пылью, чтобы состряпать эту версию о том, что мать твоя погибла, якобы, совершенно случайно, еще до того, как в комнату ворвался мой отец!

Однако, увы, чудеса случаются только в наших душах.

Никаких сомнений на этот счет у меня нет. Врала они: и твой отец, и дядя Митя.

Не врал Мальй. На этот раз не соврал. И тоже, как ни странно, проявил определенное благородство. Он знал, как и чем была убита твоя мать, но на суде об этом не заикнулся.

Уже много времени после суда он показал мне накидной ключ от пожарного крана, которым, как он настаивал, это все и было содеяно. Он рассказывал об этом при дяде Мите. Дядя Митя молчал. Он повел меня к вам на балкон, указал на глубокую расщелину между плитусом и основанием стены, присел, вытащил оттуда этот самый ключ — довольно весомая, полукольцом, головка с плоским держателем, — и мы вернулись к дяде Мите. И тот снова промолчал. Только открыл сундук и забросил в него ключ.

Как ключ попал к Малому?

Он клялся, что выдернул его из руки отца в тот момент, когда дядя Митя выводил его от вас уже после случившегося. Отец был бел, как мертвец, оглушен и подавлен, но в опущенной правой руке, в кулаке, сжатом до посинения, держал ключ. Мальй был подле, он взял отца за руку, расцепил пальцы и перехватил ключ, который тут же забросил в заплитусовую щель. Никто ничего не заметил, и отец ничего не почувствовал.

Мальй не врал. У меня было множество причин не верить ему, можно было и на этот раз усомниться. Но сильнее слов Малого было молчание дяди Мити. Тут уж, хочешь не хочешь, все попадало в точку.

Никаких смягчающих обстоятельств.

Отец сделал это ключом. Простым пожарным накидным ключом, который носил всегда при себе, в кармане.

Страшно, жестоко, нелепо, невпопад.

Но не ее убивал отец. Не Бузю, не твою мать...

— Мне было все равно... Страшно признаться, но бывали минуты, когда мне даже хотелось этого...

— Даже хотелось?!

— Я ходил по улицам, как последний безумец... Ходил и думал только об одном... Только об одном. Как отомстить? На ком сорвать злобу?

...он убивал обком. Обком!

Он убивал себя. Свою жизнь, свое отчаянье, свою пустыню, свою неовплощенность. Себя!

Себя, потерявшего все. И жену, и сына, и мечту, и жизнь. Он убивал советскую власть!

Советскую власть. Все перепахавшую, все перевернувшую, все разворотившую. Осквернившую его дом, его землю, его Бога, его мысль. Отнявшую у него веру.

Он убивал Зверя! Он восстал!

Назови это софистикой, Розалия, назови подлостью — я пойму.

Я пойму, потому что так, в самом деле, можно оправдать любую кровь, любое преступление. Да, можно. И наше серенькое вещество под черепом — исключительно подходящее для этого средство.

Но здесь не тот случай, Розалия... Не тот случай... не тот случай...

Я начну с тебя, Господи.

Я начну с истока, с основания, с первопричины. Начну спокойно, без суеты, без страсти, без ругательств и кривляний, без шумных и высоких слов.

Я начну с отца.

Я начну с отца, которого встретил, как видно, только сейчас и, как видно, благодаря Вам, дорогой Павел Никанорович.

Вы просите рассказать о нем. Я и расскажу. Но не ту дикую, совершенно немыслимую легенду, которую вы здесь о нем сочинили. Отнюдь нет.

Он не был легендарной личностью.

Он не был ни святым, ни борцом, ни героем. В том-то и дело, что не был. Все это — чистая параша, знак нашей усталости, отсутствия пути. Мы гордимся нашей славной Отчиной, оттяпавшей себе потихоньку половину земного шарика, и с чистосердечным негодованием обрушиваемся на ее строй, заведомо зная, что не будь его, нам бы только снился — все еще бы только снился! — этот разорванный в куски ветер, этот бег, этот лет вздыбившейся над миром птиць-тройки.

Мы не двоедушны — мы такие.

Мы дети одной матери, и нам некуда деться от ее родимых пятен, как бы мы себя ни располонивали, ни расставляли, ни расселяли по двум разным концам земли.

Легенда об отце — их язык. Но и наш тоже.

У Марии были крупные белые груди. Ему нравилось мять их, гладить, укладывать в ладонь, как в чашу, и он делал это.

Мария разрешала ему. Она сама расстегивала кофту, сдвигала книзу сероватый с желтыми прогалинами лифчик, и два шара густой мягкой плоти выкатывались из-под него, как две волны.

- Сколько тебе было лет?
- Не помню. Четырнадцать. Может, шестнадцать.
- И случился такой грех, захотелось В.В. в одно место.
- Ты Чернышева нашего помнишь?
- В минуту совокупления зверь становится человеком.
- А человек? Зверем?
- А человек — Богом.
- Ты их из окна видела?
- Кого?
- Собак.
- Что же ты делаешь? Ты же всю меня обоссал!
- И остается мучительный вопрос, могут ли народы прийти на этой земле к праведному и прекрасному обществу?
- Думал, наберу булыжников полную корзину, приду к обкому и поразбиваю в нем все окна, потом подожду.
- Ну как им, сукам, не стыдно сообщать по телевизору о том, что президенту операцию на жопе сделали?
- Свободу и права человека гарантируют лишь начала, имеющие сверхчеловеческую природу.
- Только влюбленный имеет право на звание человека.
- Предполагается в теории...
- Кем предполагается, господи?
- Предполагается в теории, что любовь есть нечто идеальное, возвышенное, а на практике... нечто мерзкое, свиное...

Когда же это было?.. Когда же это было?.. Когда?

Сколько помнит себя Костя, он в дом к Малому никогда не заходил.

А тут зашел. Клавка, мать Малого, была дома. Вся причепуренная, веселая, в свежей, как всегда, пышной завивке.

— Ах хлопцы, хлопцы, ничего-то вы в этой жизни не смыслите. Ничей-вошеньки!

Она только что проводила своего нового капитана и была немного под мухой.

— А главное в жизни — любовь. Не будет любви — не будет жизни. Так и знайте. И говорит вам это не какая-то там Фавна Есиповна, а говорю вам это я, Клавка, простая русская баба.

— Ну, будет тебе брехать.

— А если хочешь знать, мой сыночек дорогой, брешут сабаки. А мать не брешет никогда. Мать знает, что говорит. А то сразу "брехать"!.. Вот скажи, Костик, ты тоже так грубо с маманей своей обходишься?

— У Костика мамани капитанов нет.

— Ну вы подумайте только! Да при чем здесь капитаны?

— При том.

— Сыночек, Витек, да что с тобой?

— При том, что не знает она, что в жизни — главное. Ей капитаны не разбрехали.

— Она-то, может, и не знает. Но хозяин ее еще как знал. Ох и знал!.. Тот-то уж знал, так знал!

— Вы о чем, тетя Клава?

— А то ты, бедненький, не знаешь? О том же!.. О том, что батько твой за любовь жизни не пощадил. Или ты думаешь, он порешил ее так себе, с бухты-баракхты, за гулькин нос?

— О чем вы?!!

— "О чем? О чем?" Да будет тебе Иисусика ломать. Ты! Ты ему дорогу перешел! С тобой она, царствие ей небесное или что там у них, у евреев... С тобой она снюхалась! Вот и пеняй!..

Весь этот вечер и всю эту ночь лил дождь. Лил дождь... Лил дождь...

Весь этот вечер и всю эту ночь лил дождь и буйствовал ветер. Костя бродил один по пустынным улицам, думая о том, что хорошо было бы сейчас схватить какой-нибудь менингит или воспаление легких и умереть.

Было холодно. Ошалело метался ветер, растолченным стеклом лупили по лицу пучки дождинок, раскачиваясь, скрипели на столбах фонари, трещали надломленные ветви акаций и каштанов и, продираясь сквозь кроны, падали на землю. Эти скрипы и трески, и скрежеты, подхваченные и усиленные завыванием ветра, шумом дождя, сливались в тягучий нескончаемый стон.

До нитки промокший, Костя набрел на беседку в Лунном парке, неподалеку от Потемкинской лестницы, забрался на стол, свернулся на нем калачиком и пролежал так до утра. Раздернутыми глазами смотрел он в ревушую толщу тьмы, изредка прошиваемую разрядами молний, и впервые в жизни ее не боялся.

Он хотел умереть.

— Что же он? Умер?

— Умер.

— А ты?

— А я — трамвай.

— А трамвай?

— Поле.

— А поле?

— Человек.

— А человек?

— Бог.

— А Бог?

— Дьявол.

— А Дьявол?

— Я.

— А трамвай?..



МАКСИМЪ ГОРЬКІЯ
О РУССКОМЪ
КРЕСТЬЯНСТВѢ

Максим Горький

О РУССКОМ КРЕСТЬЯНСТВЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО И П. ВАРДЫЖНИКОВА
ВЕРНАЯ

Люди, которых я привык уважать, спрашивают: что я думаю о России?

Мне очень тяжело все, что я думаю о моей стране, точнее говоря, о русском народе, о крестьянстве, большинстве его. Для меня было бы легче не отвечать на вопрос, но — я слишком много пережил и знаю для того, чтобы иметь право на молчание. Однако, прошу понять, что я никого не осуждаю, не оправдываю, — я просто рассказываю, в какие формы сложилась масса моих впечатлений. Мнение не есть осуждение, и если мои мнения окажутся ошибочными — это меня не огорчит.

* * *

В сущности своей всякий народ — стихия анархическая: народ хочет как можно больше есть и возможно меньше работать, хочет иметь все права и не иметь никаких обязанностей. Атмосфера бесправия, в которой издревле привык жить народ, убеждает его в законности бесправия, в зоологической естественности анархизма. Это особенно плотно приложимо к массе русского крестьянства, испытавшего более грубый и длительный гнет рабства, чем другие народы Европы. Русский крестьянин сотни лет мечтает о каком-то государстве без права влияния на волю личности, на свободу ее действий, — о государстве без власти над человеком. В несбыточной надежде достичь равенства всех при неограниченной свободе каждого народ русский пытался организовать такое государство в форме казаче-

ства, Запорожской Сечи. Еще до сего дня в темной душе русского сектанта не умерло представление о каком-то сказочном "Опoньском царстве", оно существует где-то "на краю земли", и в нем люди живут безмятежно, не зная "антихристовой суеты", города, мучительно истязуемого судорогами творчества культуры. В русском крестьянине как бы еще не изжит инстинкт кочевника, он смотрит на труд пахаря — как на проклятие Божие, и болеет "охотой к перемене мест". У него почти отсутствует — во всяком случае, очень слабо развито — боевое желание укрепиться на избранной точке и влиять на окружающую среду в своих интересах, если же он решается на это — его ждет тяжелая и бесплодная борьба. Тех, кто пытается внести в жизнь деревни нечто от себя, новое, — деревня встречает недоверием, враждой и быстро выжимает или выбрасывает из своей среды. Но чаще случается так, что новаторы, столкнувшись с неодолимым консерватизмом деревни, сами уходят из нее. Идти есть куда — всюду развернулась пустынная плоскость и соблазнительно манит в даль.

Талантливый русский историк Костомаров говорит: "Оппозиция против государства существовала в народе, но, по причине слишком большого географического пространства, она выражалась бегством, удалением от тягостей, которые налагало государство на народ, а не деятельным противодействием, не борьбой". Со времени, к которому относится сказанное, население русской равнины увеличилось, "географическое пространство" сузилось, но — психология осталась и выражается в курьезном совете-поговорке: "От дела — не бегай, а дела — не делай".

* * *

Человек Запада еще в раннем детстве, только что встав на задние лапы, видит всюду вокруг себя монументальные результаты труда его предков. От каналов Голландии до туннелей Итальянской Ривьеры и виноградников Везувия, от великой работы Англии и до мощных Силезских фабрик — вся земля Европы тесно покрыта грандиозными воплощениями организованной воли людей, — воли, которая поставила себе гордую цель: подчинить стихийные силы природы разумным интересам человека. Земля — в руках человека, и человек действительно владыка ее. Это впечатление всасывается ребенком Запада и

воспитывает в нем сознание ценности человека, уважение к его труду и чувство своей личной значительности как наследника чудес труда и творчества предков.

Такие мысли, такие чувства и оценки не могут возникнуть в душе русского крестьянина. Безграничная плоскость, на которой тесно сгрудились деревянные, крытые соломой деревни, имеет ядовитое свойство опустошать человека, высасывать его желания. Выйдет крестьянин за пределы деревни, посмотрит в пустоту вокруг него и через некоторое время чувствует, что эта пустота влилась в душу ему. Нигде вокруг не видно прочных следов труда и творчества. Усадьбы помещиков? Но их мало, и в них живут враги. Города? Но они — далеко и не многим культурно значительнее деревни. Вокруг — бескрайняя равнина, а в центре ее — ничтожный маленький человечек, брошенный на эту скучную землю для каторжного труда. И человек насыщается чувством безразличия, убивающим способность думать, помнить пережитое, вырабатывать из опыта своего идеи. Историк русской культуры, характеризуя крестьянство, сказал о нем: "Множество суеверий и никаких идей". Это печальное суждение подтверждается всем русским фольклором.

* * *

Спора нет — прекрасно летом "живое золото пышных нив", но осенью перед пахарем снова ободранная голая земля, и снова она требует каторжного труда. Потом наступает суровая, шестимесячная зима, земля одета ослепительно белым саваном, сердито и грозно воют вьюги, и человек задыхается от безделья и тоски в тесной, грязной избе. Из всего, что он делает, на земле остается только солома и крытая соломой изба — ее три раза в жизни каждого поколения истребляют пожары.

Технически примитивный труд деревни неимоверно тяжел, крестьянство называет его "страда" от глагола "страдать". Тяжесть труда, в связи с ничтожеством его результатов, углубляет в крестьянине инстинкт собственности, делая его почти неподдающимся влиянию учений, которые объясняют все грехи людей силою именно этого инстинкта.

Труд горожанина разнообразен, прочен и долговечен. Из бесформенных глыб мертвой руды он создает машины и аппараты изумительной сложности, одухотворенные его разумом,

живые. Он уже подчинил своим высоким целям силы природы, и они служат ему, как джинны восточных сказок царю Соломону. Он создал вокруг себя атмосферу разума — ”вторую природу”, он всюду видит свою энергию воплощенной в разнообразии механизмов, вещей, в тысячах книг, картин, и всюду запечатлены величавые муки его духа, его мечты и надежды, любовь и ненависть, его сомнения и верования, его трепетная душа, в которой неугасимо горит жажда новых форм, идей, деяний и мучительное стремление вскрыть тайны природы, найти смысл бытия.

Будучи поработчен властью государства, он остается внутренне свободен — именно силою этой свободы духа он разрушает изжитые формы жизни и создает новые. Человек деяния, он создал для себя жизнь мучительно напряженную, порочную, но — прекрасную своей полнотой. Он возбуждатель всех социальных болезней, извращений плоти и духа, творец лжи и социального лицемерия, но — это он создал микроскоп самокритики, который позволяет ему со страшной ясностью видеть все свои пороки и преступления, все вольные и невольные ошибки свои, малейшие движения своего всегда и навеки неудовлетворенного духа.

Великий грешник перед ближним и, может быть, еще больший перед самим собою, он — великомученик своих стремлений, которые, искажая, разрушая его, рожают все новые и новые муки и радости бытия. Дух его, как проклятый Агасфер, идет в безграничье будущего, куда-то к сердцу космоса или в холодную пустоту вселенной, которую он — может быть — заполнит эманацией своей психо-физической энергии, создав — со временем — нечто недоступное представлениям разума сего дня.

Инстинкту важны только утилитарные результаты развития культуры духа, только то, что увеличивает внешнее, материальное благополучие жизни, хотя бы это была явная и унижительная ложь.

Для интеллекта процесс творчества важен сам по себе; интеллект глуп, как солнце, он работает бескорыстно.

* * *

Был в России некто Иван Болотников, человек оригинальной судьбы: ребенком он попал в плен к татарам во время одного из их набегов на окраинные города Московского царст-

ва, юношей был продан в рабство туркам — работал на турецких галерах, его выкупили из рабства венецианцы и, прожив некоторое время в аристократической Республике Дожей, он возвратился в Россию.

Это было в 1606 году; московские бояре только что застранили талантливого царя Бориса Годунова и убили умного смельчака, загадочного юношу, который, приняв имя Дмитрия, сына Ивана Грозного, занял Московский престол и, пытаясь перебороть азиатские нравы москвитян, говорил в лицо им:

”Вы считаете себя самым праведным народом в мире, а вы — развратны, злобны, мало любите ближнего и не расположены делать добро”.

Его убили, был выбран в цари хитрый, двоедушный Шуйский, князь Василий, явился второй самозванец, тоже выдававший себя за сына Грозного, и вот в России началась кровавая трагедия политического распада, известная в истории под именем ”Смуты”. Иван Болотников пристал ко второму самозванцу, получил от него право команды небольшим отрядом сторонников самозванца и пошел с ними на Москву, проповедуя холопам и крестьянам:

”Бейте бояр, берите их жен и все достояние их. Бейте торговых и богатых людей, делите между собой их имущество”.

Эта соблазнительная программа примитивного коммунизма привлекла к Болотникову десятки тысяч холопов, крестьян и бродяг, они неоднократно били войска царя Василия, вооруженные и организованные лучше их; они осадили Москву и с великим трудом были отброшены от нее войском бояр и торговых людей. В конце концов, этот первый мощный бунт крестьян был залит потоками крови, Болотникова взяли в плен, выкололи ему глаза и утопили его.

Имя Болотникова не сохранилось в памяти крестьянства, его жизнь и деятельность не оставила по себе ни песен, ни легенд. И вообще в устном творчестве русского крестьянства нет ни слова о десятилетней эпохе — 1602—1613 гг. — кровавой смуты, о которой историк говорит, как о ”школе своевольства, безначалия, политического неразумия, двоедушия, обмана, легкомыслия и мелкого эгоизма, неспособного оценить общих нужд”. Но все это не оставило никаких следов ни в быте, ни в памяти русского крестьянства.

В легендах Италии сохранилась память о фра-Дольчино,

чехи помнят Яна Жижку, так же, как крестьяне Германии Томаса Мюнцера, Флориана Гейера, а французы — героев и мучеников "Жакерии" и англичане имя Уотт Тейлора — обо всех этих людях в народе остались песни, легенды, рассказы. Русское крестьянство не знает своих героев, вождей, фанатиков любви, справедливости, мести.

Через 50 лет после Болотникова донской казак Степан Разин поднял крестьянство почти всего Поволжья и двинулся с ним на Москву, возбужденный той же идеей политического и экономического равенства. Почти три года его шайки грабили и резали бояр и купцов, он выдерживал правильные сражения с войсками царя Алексея Романова, его бунт грозил поднять всю деревенскую Русь. Его разбили, потом четвертовали. В народной памяти о нем осталось две-три песни, но чисто народное происхождение их сомнительно, смысл же был непонятен крестьянству уже в начале XIX века.

Не менее мощным и широким по размаху был бунт, поднятый при Екатерине Великой уральским казаком Пугачевым, — "эта последняя попытка борьбы казачества с режимом государства", как определил этот бунт историк С.Ф. Платонов. О Пугачеве тоже не осталось ярких воспоминаний в крестьянстве, как и о всех других, менее значительных, политических достижениях русского народа.

О них можно сказать буквально то же, что сказано историком о грозной эпохе "Смуты":

"Все эти восстания ничего не изменили, ничего не внесли нового в механизм государства, в строй понятий, в нравы и стремления..."

К этому суждению уместно прибавить вывод одного иностранца, внимательно наблюдавшего русский народ. "У этого народа нет исторической памяти. Он не знает свое прошлое и даже, как будто, не хочет знать его". Великий князь Сергей Романов рассказал мне, что в 1913 году, когда праздновалось трехсотлетие династии Романовых и царь Николай был в Костроме, Николай Михайлович — тоже великий князь, талантливый автор целого ряда солидных исторических трудов — сказал царю, указывая на многотысячную толпу крестьян:

"А ведь они совершенно такие же, какими были в XVII веке, выбирая на царство Михаила, такие же; это — плохо, как ты думаешь?"

Царь промолчал. Говорят, он всегда молчал в ответ на серьезные вопросы. Это — своего рода мудрость, если не является хитростью или — не вызвано страхом.

* * *

Жестокость — вот что всю жизнь изумляло и мучило меня. В чем, где корни человеческой жестокости? Я много думал над этим и — ничего не понял, не понимаю.

Давно когда-то я прочитал книгу под зловещим заглавием: "Прогресс как эволюция жестокости".

Автор, искусно подобрав факты, доказывал, что с развитием прогресса люди все более сладострастно мучают друг друга и физически, и духовно. Я читал эту книгу с гневом, не верил ей и скоро забыл ее парадоксы.

Но теперь, после ужасающего безумия европейской войны и кровавых событий революции — теперь эти едкие парадоксы все чаще вспоминаются мне. Но — я должен заметить, что в русской жестокости эволюции, кажется, нет, формы ее, как будто, не изменяются.

Летописец начала XVII века рассказывает, что в его время так мучили: "насыпали в рот пороху и зажигали его, а иным набивали порох снизу, женщинам прорезывали груди и, продев в раны веревки, вешали на этих веревках".

В 18 и 19 годах то же самое делали на Дону и на Урале: вставив человеку — снизу — динамитный патрон, взрывали его.

Я думаю, что русскому народу исключительно — так же исключительно, как англичанину чувство юмора — свойственно чувство особенной жестокости, хладнокровной и как бы испытывающей пределы человеческого терпения к боли, как бы изучающей цепкость, стойкость жизни.

В русской жестокости чувствуется дьявольская изощренность, в ней есть нечто тонкое, изысканное. Это свойство едва ли можно объяснить словами психоз, садизм, словами, которые, в сущности, и вообще ничего не объясняют. Наследие алкоголизма? Не думаю, чтоб русский народ был отравлен ядом алкоголя более других народов Европы, хотя допустимо, что при плохом питании русского крестьянства яд алкоголя действует на психику сильнее в России, чем в других странах, где питание народа обильнее и разнообразнее.

Можно допустить, что на развитие затейливой жестокости

влияло чтение житий святых великомучеников — любимое чтение грамотеев в глухих деревнях.

Если бы факты жестокости являлись выражением извращенной психологии единиц, — о них можно было не говорить, в этом случае они материал психиатра, а не бытописателя. Но я имею в виду только коллективные забавы муками человека.

В Сибири крестьяне, выкопав ямы, опускали туда — вниз головой — пленных красноармейцев, оставляя ноги их — до колен — на поверхности земли; потом они постепенно засыпали яму землей, следя по судорогам ног, кто из мучимых окажется выносливее, живучее, кто задохнется позднее других.

Забайкальские казаки учили рубке молодежь свою на пленных.

В Тамбовской губернии коммунистов пригвождали железнодорожными костылями в левую руку и в левую ногу к деревьям на высоте метра над землей и наблюдали, как эти — нарочито неправильно распятые люди — мучаются.

Вскрыв пленному живот, вынимали тонкую кишку и, прибив ее гвоздем к дереву или столбу телеграфа, гоняли человека ударами вокруг дерева, глядя, как из раны выматывается кишка. Раздев пленного офицера донага, сдирали с плеч его куски кожи, в форме погон, а на место звездочек вбивали гвозди; сдирали кожу по линиям портупей и лампасов — эта операция называлась "одеть по форме". Она, несомненно, требовала немало времени и большого искусства.

Творилось еще много подобных гадостей, отвращение не позволяет увеличивать количества описаний этих кровавых забав.

Кто более жесток: белые или красные? Вероятно — одинаково, ведь и те, и другие — русские. Впрочем, на вопрос о степенях жестокости весьма определенно отвечает история: наиболее жесток — наиболее активный...

* * *

Думаю, что нигде не бьют женщин так безжалостно и страшно, как в русской деревне, и, вероятно, ни в одной стране нет таких вот пословиц-советов:

"Бей жену обухом, припади да понюхай — дышит? — морочит, еще хочет". "Жена дважды мила бывает: когда в дом ведут, да когда в могилу несут". "На бабу да на скотину суда нет". "Чем больше бабу бьешь, тем щи вкуснее".

Сотни таких афоризмов — в них заключена веками нажитая мудрость народа — обращаются в деревне, эти советы слышат, на них воспитываются дети.

Детей бьют тоже очень усердно. Желая ознакомиться с характером преступности населения губерний Московского округа, я просмотрел "Отчеты Московской Судебной Палаты" за десять лет — 1901—1970 гг. — и был подавлен количеством истязаний детей, а также и других форм преступлений против малолетних. Вообще в России очень любят бить, все равно — кого. "Народная мудрость" считает битого человека весьма ценным: "За битого двух небитых дают, да и то не берут".

Есть даже поговорки, которые считают драку необходимым условием полноты жизни.

"Эх, жить весело, да — бить некого".

Я спрашивал активных участников гражданской войны: не чувствуют ли они некоторой неловкости, убивая друг друга?

Нет, не чувствуют.

"У него — ружье, у меня — ружье, значит — мы равные; ничего, побьем друг друга — земля освободится".

Однажды я получил на этот вопрос ответ крайне оригинальный, мне дал его солдат европейской войны, ныне он командует значительным отрядом красной армии.

— Внутренняя война — это ничего! А вот против чужих — трудное дело для души. Я вам, товарищ, прямо скажу: русского бить легче. Народу у нас много, хозяйство у нас плохое; ну, сожгут деревню — чего она стоит! Она и сама сгорела бы в свой срок. И, вообще, это наше внутреннее дело, вроде маневров, для науки, так сказать. А вот когда я в начале той войны попал в Пруссию — Боже, до чего жалко было мне тамошний народ, деревни ихние, города и вообще хозяйство! Какое величественное хозяйство разорjali мы по неизвестной причине! Тошнота!.. Когда меня ранили, так я почти рад был — до того тяжело смотреть на безобразие жизни. Потом — попал я на Кавказ к Юденичу, там турки и другие черномазые личности. Беднейший народ, добряки, улыбаются, знаете, — неизвестно почему. Его бьют, а он улыбается. Тоже — жалко, ведь и у них, у каждого есть свое занятие, своя привязка к жизни...

Это говорит человек, по-своему гуманный, он хорошо относится к своим солдатам, они, видимо, уважают и даже любят его, и он любит свое военное дело.

Я попробовал рассказать ему кое-что о России, о ее значении в мире — он слушал меня задумчиво, покуривая папиросу, потом глаза у него стали скучные, вздохнув, он сказал:

— Да, конечно, держава была специальная, даже вовсе необыкновенная, ну, а теперь, по-моему, окончательно впала в негодяйство!

Мне кажется, что война создала немало людей, подобных ему, и что начальники бесчисленных — и бессмысленных — банд люди этой психологии.

* * *

Говоря о жестокости, трудно забыть о характере еврейских погромов в России. Тот факт, что погромы евреев разрешались имевшими власть злыми идиотами — никого и ничего не оправдывает. Разрешая бить и грабить евреев, идиоты не внушали сотням погромщиков: отрезайте еврейкам груди, бейте их детей, вбивайте гвозди в черепа евреев — все эти кровавые мерзости надо рассматривать, как "проявление личной инициативы масс".

Но где же — наконец — тот добродушный, вдумчивый русский крестьянин, неутомимый искатель правды и справедливости, о котором так убедительно и красиво рассказывала миру русская литература XIX века?

В юности моей я усиленно искал такого человека по деревням России и — не нашел его. Я встретил там сурового реалиста и хитреца, который — когда это выгодно ему — прекрасно умеет показать себя простаком. По природе своей он не глуп и сам хорошо знает это. Он создал множество печальных песен, грубых и жестоких сказок, создал тысячи пословиц, в которых воплощен опыт его тяжелой жизни.

Он знает, что "мужик не глуп, да — мир дурак" и что "мир силен, как вода, да глуп, как свинья".

Он говорит: "не бойся чертей, бойся людей". "Бей своих — чужие бояться будут".

О правде он не очень высокого мнения: "Правдой сыт не будешь". "Что в том, что ложь, коли сыто живешь". "Правдивый, как дурак, также вреден".

Чувствуя себя человеком, способным на всякий труд, он говорит: "Бей русского — часы сделает". А бить надо потому, что "каждый день есть не лень, а работать не охота".

Таких и подобных афоризмов у него тысячи, он ловко

умеет пользоваться ими, с детства он слышит их и с детства убеждается, как много заключено в них резкой правды и печали, как много насмешки над собою и озлобления против людей. Люди — особенно люди города — очень мешают ему жить, он считает их лишними на земле, буквально удобренной потом и кровью его, на земле, которую он мистически любит, непоколебимо верит и чувствует, что с этой землей он крепко спаян плотью своей, что она его кровная собственность, разбойнически отнятая у него. Он задолго раньше лорда Байрона знал, что "пот крестьянина стоит усадьбы помещика". Литература народолюбцев служила целям политической агитации и поэтому идеализировала мужика. Но уже в конце XIX столетия отношение литературы к деревне и крестьянину начало решительно изменяться, стало менее жалостливым и более правдивым. Начало новому взгляду на крестьянство положил Антон Чехов рассказами "В овраге" и "Мужики".

В первых годах XX-го столетия являются рассказы лучшего из современных русских художников слова, Ивана Бунина. Его "Ночной разговор" и другая превосходная по красоте языка и суровой правдивости повесть "Деревня" утвердили новое, критическое отношение к русскому крестьянству.

О Бунине в России говорят, что он, как дворянин, относится к мужику пристрастно и даже враждебно. Разумеется, это неверно — Бунин прекрасный художник и только. Но в русской литературе текущего века есть более резкие и печальные свидетельства о жуткой деревенской темноте — это "Юность", повесть, написанная талантливым крестьянином Орловской губернии Иваном Вольным, это рассказы московского крестьянина Семена Подъячева, а также рассказы сибирского крестьянина Всеволода Иванова, молодого писателя исключительной яркости и силы. Этих людей едва ли можно заподозрить в предвзятом и враждебном отношении к среде, родной им по плоти и крови, — к среде, связь с которой ими еще не порвана. Им более, чем кому-либо иному, известна и понятна жизнь крестьянства, горе и грубые радости деревни, слепота ее разума и жестокость чувства.

В заключение этого невеселого очерка я приведу рассказ одного из участников научной экспедиции, работавшей на Урале в 1921 году. Крестьянин обратился к членам экспедиции с таким вопросом:

— Вы люди ученые, скажите, как мне быть, зарезал у меня башкир корову, я башкира, конечно, убил, а после того сам свел корову у его семьи, так вот: будет мне за корову наказание?

Когда его спросили: а за убийство человека разве он не ждет наказания — мужик спокойно ответил:

— Это — ничего, человек теперь дешев.

Характерно здесь словечко "конечно", оно свидетельствует, что убийство стало делом простым, обычным. Это — отражение гражданской войны и бандитизма.

А вот образец того, как — иногда — воспринимаются новые для деревенского разума идеи.

Сельский учитель, сын крестьянина, пишет мне: "Так как знаменитый ученый Дарвин установил научно необходимость беспощадной борьбы за существование и ничего не имеет против уничтожения слабых и бесполезных людей, а в древнее время стариков отвозили в овраги на смерть от голода или, посадив на дерево, стряхивали оттуда, чтобы они расшиблись, — то: протестуя против такой жестокости, я предлагаю уничтожать бесполезных людей мерами более сострадательного характера. Например — окормливать их чем-нибудь вкусным и так далее. Эти меры смягчали бы повсеместную борьбу за существование, то есть приемы ее. Так же следует поступить со слабыми идиотами, с сумасшедшими и преступниками от природы, а может быть, и с неизлечимо больными, горбатыми, слепыми и проч. Такое законодательство, конечно, не понравится нашей ноющей интеллигенции, но пора уже перестать считаться с ее консервативной и контрреволюционной идеологией. Содержание бесполезных людей обходится народу слишком дорого, и эту статью расхода нужно сократить до нуля".

Много сейчас в России пишется таких и подобных проектов, писем, докладов — очень они удручают, но и они, невзирая на их уродство, заставляют чувствовать, что мысль деревни пробуждена, и хотя работает неумело, однако работает в направлении совершенно новом для нее: деревня пытается мыслить о государстве в его целом.

* * *

Существует мнение, что русский крестьянин как-то особенно глубоко религиозен. Я никогда не чувствовал этого, хо-

тя, кажется, достаточно внимательно наблюдал духовную жизнь народа. Я думаю, что человек безграмотный и не привыкший мыслить, не может быть истинным теистом или атеистом и что путь к твердой, глубокой вере лежит через пустыню неверия.

Беседуя с верующими крестьянами, присматриваясь к жизни различных сект, я видел прежде всего органическое, слепое недоверие к поискам мысли, к ее работе, наблюдал умонастроение, которое следует назвать скептицизмом невежества.

В стремлении сектантов обособиться, отойти в сторону от государственной церковной организации мною всегда чувствовалось отрицательное отношение не только к обрядам и — всего меньше — к догматам, а вообще к строю государственной и городской жизни. В этом отрицании я не мог уловить какой-либо оригинальной идеи, признаков творческой мысли, искания новых путей духа. Это просто пассивное и бесплодное отрицание явлений и событий, связь и значение которых мысль, развитая слабо, не может понять.

Мне кажется, что революция вполне определенно доказала ошибочность убеждения в глубокой религиозности крестьянства в России. Я не считаю значительными факты устройства в сельских церквях театров и клубов, хотя это делалось — иногда — не потому, что не было помещения, более удобного для театра, а — с явной целью демонстрировать свободомыслие. Наблюдалось и более грубо кощунственное отношение к храму — это можно объяснить враждой к "попам", желанием оскорбить священника, а порою дерзким и наивным любопытством юности: что со мною будет, если я оскорблю вот это, всеми чтимое?

Несравненно значительнее такие факты: разрушение глубоко чтимых народом монастырей — древней Киево-Печерской Лавры и сыгравшего огромную историческую и религиозную роль Троице-Сергиевского монастыря — не вызвало в крестьянстве ни протестов, ни волнений, — чего уверенно ждали некоторые политики. Как будто эти центры религиозной жизни вдруг утратили свою магическую силу, привлекавшую верующих со всех концов обширной русской земли. А ведь сотни тысяч пудов хлеба, спрятанного от голодной Москвы и Петербурга, деревня защищала с оружием в руках, не щадя своей жизни.

Когда провинциальные советы вскрывали "нетленные", высоко чтимые народом мощи — народ отнесся и к этим актам

совершенно равнодушно, с молчаливым, тупым любопытством. Вскрытия мощей производились крайне бестактно и часто в очень грубых формах — с активным участием инородцев, иноверцев, с грубым издевательством над чувствами верующих в святость и чудотворную силу мощей. Но — и это не возбудило протестов со стороны людей, которые еще вчера преклонялись перед гробницами "чудотворцев". Я опросил не один десяток очевидцев и участников разоблачения церковного обмана: что чувствовали они, когда перед глазами, вместо нетленного и благоухающего тела являлась грубо сделанная кукла или открывались полуистлевшие кости? Одни говорили, что совершилось чудо: святые тела, зная о поругании, затеянном неверами, покинули гробницы свои и скрылись. Другие утверждали, что обман был устроен монахами лишь тогда, когда им стало известно о намерении властей уничтожить мощи: "они вынули настоящие нетленные мощи и заменили их чучелами".

Так говорят почти одни только представители старой, безграмотной деревни. Более молодые и грамотные крестьяне признают, конечно, что обман был, и говорят:

— Это хорошо сделано — одним обманом меньше. — Но затем у них являются такие мысли — я воспроизвожу их буквально, как они записаны мною.

— Теперь, когда монастырские фокусы открыты, — докторов надо пощупать и разных ученых — их дела открыть народу.

Нужно было долго убеждать моего собеседника, чтобы он объяснил смысл своих слов. Несколько смущаясь, он сказал:

— Конечно, вы не верите в это... А говорят, что теперь можно отравить ветер ядом и — конец всему живущему, и человеку, и скоту. Теперь — все озлобились, жалости ни в ком нет...

Другой крестьянин, член уездного совета, называющий себя коммунистом, еще более углубил эту тревожную мысль.

— Нам никаких чудес не надо. Мы желаем жить при ясном свете, без опасений, без страха. А чудес затеяно — много. Решили провести электрический свет по деревням, говорят: пожаров меньше будет. Это — хорошо, дай Бог! Только, как бы ошибок не делали, повернут какой-нибудь винтик не в ту сторону и — вся деревня вспыхнула огнем. Видите, чего опасно? К этому скажу: городской народ — хитер, а деревня дура, обмануть ее легко. А тут — затеяно большое дело. Солдаты сказывали, что на войне электрическим светом целые полки убивали.

Я постарался рассеять страхи Калибана — и услышал от него разумные слова:

— Один все знает, а другой — ничего; в этом и начало всякого горя. Как я могу верить, ежели ничего не знаю?

Жалобы деревни на свою темноту раздаются все чаще, звучат все более тревожно. Сибиряк, энергичный парень, организатор партизанского отряда в тылу Колчака, угрюмо говорит:

— Не готов наш народ для событий. Шатается туда и сюда, слеп разумом. Разбили мы отряд колчаковцев, три пулемета отняли, пушечку, обозишко небольшой, людей перебили с полсотни у них, сами потеряли семьдесят одного, сидим, отдыхаем, вдруг ребята мои спрашивают меня: а что, не у Колчака ли правда-то? Не против ли себя идем? Да и сам я иной день как баран живу — ничего не понимаю. Распря везде! Мне доктор один в Томске — хороший человек — говорил про вас, что вы еще с девятьсот пятого года японцам служите за большие деньги. А один пленный, колчаковский солдат из матросов, раненый, доказывал нам, что Ленин немцам на руку играет. Документы у него были, и доказано в них, что имел Ленин переписку о деньгах с немецкими генералами. Я велел солдата расстрелять, чтобы он народ не смущал, — а все-таки долго на душе неспокойно было. Ничего толком не знаешь — кому верить? Все против всех. И себе верить боязно.

Не мало бесед вел я с крестьянами на разные темы, и в общем они вызвали у меня тяжелое впечатление: люди много видят, но — до отчаяния мало понимают. В частности, беседы о мощах показали мне, что вскрытый обман церкви усилил подозрительное и недоверчивое отношение деревни к городу. Не к духовенству, не к власти, а именно к городу как сложной организации хитрых людей, которые живут трудом и хлебом деревни, делают множество бесполезных крестьянину вещей, всячески стремятся обмануть его и ловко обманывают.

Работая в комиссии по ликвидации безграмотности, я беседовал однажды с группой подгородних петербургских крестьян на тему об успехах науки и техники.

— Так, — сказал один слушатель, бородастый красавец, — по воздуху галками научились летать, под водой щуками плаваем, а на земле жить не умеем. Сначала-то на земле надо бы

* В Сибири, в Кустанае, отряд крестьян-партизан переходил от большевиков к Колчаку и обратно двадцать один раз.

твердо устроиться, а на воздух — после. И денег бы не тратить на эти забавки!

Другой сердито добавил:

— Пользы нам от фокусов этих нет, а — расход большой и людьми, и деньгами. Мне подковы надо, топор, у меня гвоздей нет, а вы тут на улицах памятники ставите — баловство это!

— Ребятишек одеть не во что, а у вас везде флаги болтаются...

И в заключение, после длительной, жестокой критики городских "забавок", бородатый мужик сказал, вздыхая:

— Если бы революцию мы сами делали — давно бы на земле тихо стало и порядок был бы...

Иногда отношение к горожанам выражается в такой простой, но радикальной форме:

— Срезать надо с земли всех образованных, тогда нам, дуракам, легко жить будет, а то — замаяли вы нас!

В 1919 году милейший деревенский житель покойно разул, раздел и вообще обобрал горожанина, выманивая у него на хлеб и картофель все, что нужно и не нужно деревне.

Не хочется говорить о грубо насмешливом, мстительном издевательствах, которым деревня встречала голодных людей города.

Всегда выигрывая на обмане, крестьяне — в большинстве — старались и умели придать обману унижительный характер милостыни, которую они — нехотя — дают барину, "прожившемуся на революции". Замечено было, что к рабочему относились не то чтобы человечнее, но осторожнее. Вероятно, осторожность эта объясняется анекдотическим советом одного крестьянина другому:

— Ты с ним — осторожнее, он, говорят, где-то Совдеп держал.

Интеллигент почти неизбежно подвергался моральному истязанию. Например: установив после долгого спора точные условия обмена, мужик или баба равнодушно говорили человеку, у которого дома дети в цынге:

— Нет, иди с Богом. Раздумали мы, не дадим картофеля...

Когда человек говорил, что слишком долго приходится ждать, он получал в ответ злопамятные слова:

— Мы — бывало, ваших милостей еще больше ждали.

Да, чем другим, а великодушием русский крестьянин не

отличается. Про него можно сказать, что он не злопамятен: он не помнит зла, творимого им самим, да, кстати, не помнит и добра, содеянного в его пользу другим.

Один инженер, возмущенный отношением крестьян к группе городских жителей, которые приплелись в деревню под осенним дождем и долго не могли найти места, где бы обсушиться и отдохнуть, — инженер, работавший в этой деревне на торфу, сказал крестьянам речь о заслугах интеллигенции в истории политического освобождения народа. Он получил из уст ровесоволосого, голубоглазого славянина сухой ответ:

— Читали мы, что действительно ваши довольно пострадали за политику, только ведь это вами же и писано. И ведь вы по своей воле на революцию шли, а не по найму от нас — значит, мы за горе ваше не отвечаем — за все Бог с вами рассчитается...

Я не привел бы этих слов, если бы не считал их типичными — в различных сочетаниях я лично слышал их десятки раз.

Но необходимо отметить, что унижение хитроумного горожанина перед деревней имело для нее очень серьезное и поучительное значение: деревня хорошо поняла зависимость города от нее, до этого момента она чувствовала только свою зависимость от города.

* * *

В России — небывалый, ужасающий голод, он убивает десятки тысяч людей, убьет миллионы. Эта драма возбуждает сострадание даже у людей, относящихся враждебно к России, стране, где, по словам одной американки, "всегда холера или революция". Как относится к этой драме русский, сравнительно пока еще сытый, крестьянин?

— "Не плачут в Рязани о Псковском неурожае", — отвечает он на этот вопрос старинной поговоркой.

— "Люди мрут — нам дороги трут", — сказал мне старик новгородец, а его сын, красавец, курсант военной школы, развил мысль отца так:

— Несчастье — большое, и народу вымрет много. Но — кто вымрет? Слабые, трепанные жизнью; тем, кто жив останется, в пять раз легче будет.

Вот голос подлинного русского крестьянина, которому принадлежит будущее. Человек этого типа рассуждает спокойно и весьма цинично, он чувствует свою силу, свое значение.

— С мужиком — не совладаешь, — говорит он. — Мужик теперь понял: в чьей руке хлеб, в той и власть, и сила.

Это говорит крестьянин, который ”встретил политику национализации сокращением посевов как раз настолько, чтоб оставить городское население без хлеба и не дать власти ни зерна на вывоз за границу”*

— Мужик как лес: его и жгут, и рубят, а он самосевом растет, да растет, — говорил мне крестьянин, приехавший в сентябре из Воронежа в Москву за книгами по вопросам сельского хозяйства. — У нас не заметно, чтоб война убавила народу. А теперь вот, говорят, миллионы вымрут, — конечно, заметно станет. Ты считай хоть по две десятины на покойника — сколько освободится земли? То-то. Тогда мы такую работу покажем — весь свет ахнет. Мужик работать умеет, только дай ему — на чем. Он забастовок не устраивает — этого земля не позволяет ему!

В общем, сытое и полусытое крестьянство относится к трагедии голода спокойно, как издревле привыкло относиться к стихийным бедствиям. А в будущее крестьянин смотрит все более уверенно, и в тоне, которым он начинает говорить, чувствуется человек, сознающий себя единственным и действительным хозяином русской земли.

Очень любопытную систему областного хозяйства развивал передо мной один рязанец:

— Нам, друг, больших фабрик не надо, от них только бунты и всякий разврат. Мы бы так устроились: сукновальню, человек на сто рабочих, кожевню — тоже не большую, и так все бы маленькие фабрики, да подальше одна от другой, чтобы рабочие-то не скоплялись в одном месте, и так бы потихоньку, всю губернию обстроить небольшими заводиками, а другая губерния — тоже так. У каждой — все свое, никто ни в чем не нуждается. И рабочему сытно жить и всем — спокойно. Рабочий — он жадный, ему все подай, что он видит, а мужик — малым доволен...

— Многие ли думают так? — спросил я...

— Думают некоторые, кто поумнее.

— Рабочих-то не любите?

— Зачем? Я только говорю, что беспокойный это народ, когда в большом скоплении он. Разбивать их надо на малые артели, там сотня, тут сотня...

* Из речи Л. Каменева на IX Съезде Советов в декабре 1921 г.

А отношение крестьян к коммунистам — выражено, по моему мнению, всего искреннее и точнее в совете, данном односельчанами моему знакомому крестьянину, талантливому поэту:

— Ты, Иван, смотри, в коммуны не поступай, а то мы у тебя и отца и брата зарежем, да — кроме того — и соседей обоих тоже.

— Соседей-то за что?

— Дух ваш искоренять надо.

* * *

Какие же выводы делаю я?

Прежде всего: не следует принимать ненависть к подлости и глупости за недостаток дружеского внимания к человеку, хотя подлость и глупость не существуют вне человека. Я очертил — так, как я ее понимаю, среду, в которой разыгралась и разыгрывается трагедия русской революции. Это — среда полудиких людей.

Жестокость форм революции я объясняю исключительной жестокостью русского народа.

Когда в "зверстве" обвиняют вождей революции — группу наиболее активной интеллигенции — я рассматриваю эти обвинения как ложь и клевету, неизбежные в борьбе политических партий, или — у людей честных — как добросовестное заблуждение.

Напомню, что всегда и всюду особенно злые бесстыдные формы принимает ложь обиженных и побежденных. Из этого отнюдь не следует, что я считаю священной и неоспоримой правду победителей. Нет, я просто хочу сказать то, что хорошо знаю и что — в мягкой форме — можно выразить словами печальной, но — истинной правды: какими бы идеями не руководствовались люди — в своей практической деятельности они все еще остаются зверями. И часто — бешеными, причем иногда бешенство объяснимо страхом. Обвинения в эгоистическом своекорыстии, честолюбии и бесчестности я считаю вообще неприменимыми ни к одной из групп русской интеллигенции — неосновательность этих обвинений прекрасно знают все те, кто ими оперирует.

Не отрицаю, что политики наиболее грешные люди из всех окаянных грешников земли, но — это потому, что харак-

тер деятельности неуклонно обязывает их руководствоваться иезуитским принципом "цель оправдывает средство".

Но люди искренно любящие и фанатики идеи нередко сознательно искажают душу свою ради блага других. Это особенно приложимо к большинству русской активной интеллигенции — она всегда подчиняла вопрос качества жизни интересам и потребностям количества первобытных людей.

Тех, кто взял на себя каторжную, Геркулесову работу очистки Авгиевых конюшен русской жизни, я не могу считать "мучителями народа", с моей точки зрения они — скорее жертвы.

Я говорю это, исходя из крепко сложившегося убеждения, что вся русская интеллигенция, почти целый век мужественно пытавшаяся поднять на ноги тяжелый русский народ, лениво, нерадиво и бесталанно лежавший на своей земле, — вся интеллигенция является жертвой истории прозябания народа, который ухитрился жить изумительно нищенски на земле, сказочно богатой. Русский крестьянин, здравый смысл которого ныне пробужден революцией, мог бы сказать о своей интеллигенции: глупа, как солнце, работает так же бескорыстно.

Он, конечно, не скажет этого, ибо ему еще не ясно решающее значение интеллектуального труда.

Почти весь запас интеллектуальной энергии, накопленной Россией в XIX в., израсходован революцией, растворился в крестьянской массе.

Интеллигент, производитель духовного хлеба, рабочий, творец механизма городской культуры, постепенно и с быстротой все возрастающей, поглощается крестьянством, и оно жадно впитывает все полезное ему, что создано за эти четыре года бешеной работы.

Теперь можно с уверенностью сказать, что ценою гибели интеллигенции и рабочего класса русское крестьянство оживило.

Да, это стоило мужику дорого, и он еще не все заплатил, трагедия не кончена. Но революция, совершенная ничтожной — количественно — группой интеллигенции, во главе нескольких тысяч воспитанных ею рабочих, эта революция стальным плугом взбороздила всю массу народа так глубоко, что крестьянство уже едва ли может возвратиться к старым, в прах и навсегда разбитым формам жизни; как евреи, выведенные Моисеем из рабства Египетского, вымрут полудикие, глупые, тяжелые люди русских сел и деревень — все те, почти страшные лю-

ди, о которых говорилось выше, и место их займет новое племя — грамотных, разумных, бодрых людей.

На мой взгляд это будет не очень "милый и симпатичный русский народ", но это будет — наконец — деловой народ, недоверчивый и равнодушный ко всему, что не имеет прямого отношения к его потребностям.

Он не скоро задумается над теорией Эйнштейна и научится понимать значение Шекспира или Леонардо да Винчи, но, вероятно, он даст денег на опыты Штейнаха и, несомненно, очень скоро усвоит значение электрификации, ценность ученого агронома, полезность трактора, необходимость иметь в каждом селе хорошего доктора и пользу шоссе.

У него разовьется хорошая историческая память и, памятуя свое недавнее мучительное прошлое, он — на первой поре строительства новой жизни — станет относиться довольно недоверчиво, если не прямо враждебно, к интеллигенту и рабочему, возбудителям различных беспорядков и мятежей.

И город, неугасимый костер требовательной, все исследующей мысли, источник раздражающих, не всегда понятных явлений и событий, не скоро заслужит справедливую оценку со стороны этого человека, не скоро будет понят им как мастерская, где непрерывно вырабатываются новые идеи, машины, вещи, назначение которых — облегчить и украсить жизнь народа.

Вот схема моих впечатлений и мыслей о русском народе.

ОТ РЕДАКЦИИ

"Синтаксис" публикует статью Максима Горького в виде назидательного чтения, а не программной установки. Многие утверждения Горького были продиктованы его ненавистью к крестьянству. Недаром через десять лет он приветствовал коллективизацию, как решительную акцию по уничтожению деревни.

Тем не менее в статье "О русском крестьянстве" есть и своя динамика, и своя логика, и довольно точные наблюдения, в которых автор переключается с другим знатоком русского народа — И. Буниным. Близкие мотивы мы находим у Чехова, Астафьева и Солженицына.

К тому же предлагаемая статья никогда не публиковалась в Советском Союзе.

А. Синявский

СТАЛИН — ГЕРОЙ И ХУДОЖНИК СТАЛИНСКОЙ ЭПОХИ

Для начала поставим вопрос: чем Сталин отличался от Ленина и в какой мере Ленин подготовил Сталина?

Даже чисто внешнее сопоставление показывает громадное различие между двумя вождями, олицетворявшими государство на двух разных этапах. Ленин по складу характера и внешнему облику был человек сугубо штатский. Сталин — человек военный или, во всяком случае, разыгрывающий роль военного. Свое пристрастие к военному чину и мундиру он окончательно реализовал в пышном титуле генералиссимуса. Однако и в ранние революционные годы Сталин уже носил сапоги, шинель и свои знаменитые усы — намек на принадлежность к военной касте русского большевизма. Ленин же ходил в своей, тоже знаменитой, жилетке — принадлежности штатского облика и, ораторствуя, имел обыкновение закладывать большие пальцы рук за края жилетки, у подмышек, как если бы собирался танцевать фрейлехс. Может быть, в этом сказывалось чисто российское интеллигентское пренебрежение Ленина к позе, к собственной внешности, к своему костюму — хотя и при жилетке.

Непрезентабельна и наружность Ленина: лысый, маленький и каргавый человечек с огромным лбом ученого. Сталин — тоже был невысокого роста (правда — с низким лбом). Однако мы этого не замечали за лесом громадных статуй, который он

Глава из книги — "Основы советской цивилизации".

Употребляя определения "художник" или "ученый", автор не вкладывает в эти слова какой-либо качественной оценки, а пользуется ими нейтрально — в значении типологических терминов.

воздвиг в собственную честь — в сапогах, в шинели и с усами. Вместо научных дискуссий и вьедливых партийных препирательств (к чему был склонен Ленин) начинался военный парад — театрализованной власти и театрализованной действительности.

Ленин в анкете, в графе "профессия" тихо писал о себе: "литератор". А Сталин сделался "вождем всего передового человечества", как его повседневно величали. И даже их псевдонимы звучат по-разному. "Ленин" — что-то неопределенное, производное от домашнего женского имени. Это теперь слово "Ленин" звучит громко, а вначале оно ничего высокого и торжественного не обозначало. Почти как "Машин" или "Катин", "Люсин", например. И, придя к власти, Ленин продолжал подписываться "Ульянов" в сочетании с псевдонимом "Ленин", звучащим еще более неприятно. А Сталин о своем истинном имени "Джугашвили" не любил вспоминать и сразу ввел в обиход громкое понятие "Сталин", в котором слышится "сталь" и кем этот человек "стал", определив собственным именем новую, стальную эпоху.

Военных летчиков стали называть "сталинскими соколами". В почет вошли сталевары — по аналогии со Сталиным. И в это же время был написан роман "Как закалялась сталь". Заглавие романа, как стальная струна, резонировало на имя: Сталин. А рядом со Сталиным вдруг объявился народный поэт, писавший о Сталине, дагестанский ашуг Сулейман Стальский, которого Горький назвал "Гомером XX века".

От одного имени "Сталин" все зазвучало в стране по-сталински и стало стилем. Этот стиль Сталин назвал *социалистическим реализмом*. На вопрос писателей — что такое социалистический реализм? — Сталин отвечал: "Пишите правду". Этой репликой он прикрепил писателей к действительности, как прикрепляли крестьян к помещикам. А эпитетом "социалистический" реализму сообщался какой-то дополнительный блеск — вроде позолоты...

Ленин в быту был неприятно аскетичен, почти аскетичен. В нем действовала еще старая закваска русских революционеров. Согласно неписаным правилам этой традиции человек, отдавший себя делу народа и революции, должен — внешне — не выделяться и не возвышаться над простыми людьми. Он должен бороться и жить бескорыстно, не стремясь к личной славе. Поз-

тому Ленин не играл в демократию, но был действительно демократичен в своих привычках, в отношениях с людьми. Мы не знаем, чтобы Ленин упивался властью, которая ему досталась в неограниченных размерах, чтобы он сводил с кем-то счеты по личным мотивам или выказывал деспотический нрав, как это свойственно диктаторам. Да, Ленин проявлял невероятную жестокость. Но эта жестокость исходила не от его собственного нрава и характера, а от сугубо научного подхода к проблемам классовой борьбы и политики. Лично Ленин был скорее добрым человеком. Но в своих политических действиях он был безразличен к вопросам "добра" и "зла", полагая, что "добро" — это то, что полезно в данный момент пролетариату и его, ленинской, политике, выражавшей, как ему казалось, пролетарские интересы. А "зло" — все то, что может этим интересам повредить и помешать.

Властвуя единолично, Ленин избегал славы и почета, которыми его имя уже было окружено. Вот пример: в дни 50-летия Ленина в 1920 году проходит IX съезд партии, который хочет отметить ленинский юбилей. И как же реагирует Ленин на эти поздравительные овации? Он уходит, как только начинаются хвалебные речи в его честь. И сидя в кабинете, один, все время шлет записки съезду и звонит по телефону, чтобы его чествование поскорее прекратили и перешли к очередной полезной работе. И это — искренне: как и подобает революционеру, интеллигенту и демократу.

Овации во славу себе Сталин поощрял и, случалось, расстреливал тех, кто мало ему аплодировал. Сталин упивался собственной властью. Он проявлял личную мстительность, злопамятство, садизм и прочие темные страсти, свойственные его натуре. И при этом не считался ни с какими классовыми интересами и действовал даже вопреки этим интересам — обнаруживая исключительную личную жестокость, личное коварство и личную жажду власти.

С некоторых пор существует прогивопоставление — Ленин и Сталин. Отрицая Сталина, коммунисты обычно ссылаются на Ленина и говорят: вот если бы был жив Ленин, все пошло бы по-другому и не было бы — Сталина. В результате Ленин становится воплощением доброго, хорошего коммунизма.

Действительно, трудно представить Ленина в роли Сталина. Однако Ленин подготовил приход Сталина к власти. Подго-

товил тем, что исключил всякую, в том числе партийную, демократию. И, будучи по натуре демократичным интеллигентом, он по сути запретил дискуссии внутри партии и вне ее. Ленин свел все государственное управление к самому Ленину, не забывая о том, что завтра на его место сядет — Сталин. Ленинский террор и ленинская централизация власти привели к Сталину.

В 1921 году один из крупных партийцев — Адольф Иоффе — написал Ленину письмо, в котором пожаловался, что ЦК партии это единовластное "я" Ленина. Ленин страшно удивился по поводу формулы "ЦК — это я". И ответил Иоффе, что эта версия — результат нервного переутомления и что тому нужно лечиться. Ленин ответил: "Зачем же так нервничать, что писать совершенно невозможную, совершенно невозможную фразу, будто ЦК — это я. Это переутомление".

На самом же деле в 1921 году Ленин мог бы уже сказать не только "ЦК — это я", но и "Государство — это я". Предполагалось, что партия единовластно правит государством, а во главе партии уже стояла единовластная личность — Ленин. Так что Сталину оставалось только сменить табличку да устранить возможных соперников. Сталин это сделал, и сделал отчасти по-ленински — т.е. исходя из ленинской идеи насилия и государственной централизации. В этом смысле Сталин не узурпатор, а законный наследник Ленина. Другое дело, что Сталину, придя к власти, пришлось потеснить Ленина с его "ленинской командой". Но это уже детали. Сталин был верным ленинцем, только реализовал ленинскую идею диктатуры по-своему, по-сталински.

Кульминация Сталина — 1937 год, когда он ликвидировал всех своих мнимых и действительных противников по партии. Конечно, не в одном 1937 году все это делалось, но 1937 год навсегда останется в русской истории какой-то мистической датой, может быть наравне с тоже достаточно сакраментальным 1917 годом. Тридцать седьмой год — это как бы ответ Семнадцатому. На разум Ленина, на его крайнюю рациональность, проявленную в 1917 году, Сталин через двадцать лет Советской власти ответил иррационально — в 1937-ом.

Сталинская иррациональность заключалась в том, что сажали и убивали вчерашних героев революции, убивали своих, самых преданных членов партии, которые умирали подчас с клятвой верности Сталину на устах.

Это кажется безумием. И существует версия, что Сталин просто-напросто был сумасшедшим, который все это устроил и организовал — вопреки собственным и партийным интересам. На самом деле Сталин поступал совершенно логично со своей точки зрения, и даже в чем-то следуя ленинской политике. Но если все-таки допустить, что Сталин был безумцем, который правил государством в течение нескольких десятилетий, не встречая никаких помех и никакого сопротивления, то значит само государство, созданное Лениным, несло в себе такую возможность. А Сталин при всем психологическом различии с Лениным, был его учеником, правда учеником, который превзошел своего учителя.

Известно, что Ленин уничтожил оппозицию прежде всего в виде других партий, в том числе других социалистических партий — меньшевиков и эсеров. А Сталин в начале правления столкнулся с оппозицией себе внутри партии в лице троцкистов, которых он ликвидировал, а затем распространил эту ликвидацию и почти на всю ленинскую гвардию, которая в его глазах была потенциальной оппозицией ему, Сталину. Для того и понадобились показательные процессы 30-х годов, когда виднейшие руководители партии и государства публично признавали себя агентами иностранных разведок, якобы всю жизнь мечтавшими о реставрации капитализма в России.

Следует признать, что эти спектакли были поставлены и проведены блестяще. Сошлюсь только на одно свидетельство — Лиона Фейхтвангера, которого как знатного иностранца и друга Советского Союза пригласили присутствовать на судебном процессе в Москве. Вот что рассказывает Фейхтвангер в книге "Москва 1937":

"Людей, стоявших перед судом, никоим образом нельзя было назвать замученными, отчаявшимися существами, представшими перед своим палачом. Вообще не следует думать, что это судебное разбирательство носило какой-либо искусственный или даже хотя бы торжественный, патетический характер.

Помещение, в котором шел процесс, не велико, оно вмещает, примерно, триста пятьдесят человек... Сами обвиняемые представляли собой холеных, хорошо одетых мужчин с медленными, непринужденными манерами. Они пили чай, из карманов у них торчали газеты, и они часто посматривали в публику. По общему виду это походило больше на дискуссию, чем на уго-

ловный процесс, дискуссию, которую ведут в тоне беседы образованные люди, старающиеся выяснить правду и установить, что именно произошло и почему это произошло. Создавалось впечатление, будто обвиняемые, прокурор и судьи увлечены одинаковым, я чуть было не сказал спортивным, интересом выяснить с максимальной точностью все происшедшее. Если бы этот суд поручили инсценировать режиссеру, то ему, вероятно, понадобилось бы немало лет и немало репетиций, чтобы добиться от обвиняемых такой сыгранности: так добросовестно и старательно не пропускали они ни малейшей неточности друг у друга...

Признавались они все, но каждый на свой собственный манер: один с циничной интонацией, другой молодежато, как солдат, третий внутренне сопротивляясь, прибегая к уверткам, четвертый — как раскаивающийся ученик, пятый — поучая. Но тон, выражение лица, жесты у всех были правдивы”.

Между тем известно, что Сталин, как главный режиссер, вникал во все детали подобных инсценировок. Говорят, что одному из организаторов этих процессов Сталин приказал: ”Ты организуй дело так, чтобы всем подсудимым на процессе подавали чай с лимоном и пирожными”.

В судьбе Сталина все настолько запутано и загадочно, что над многими фактами мы ломаем голову, не зная, как их понять и как в действительности обстояло дело. Долгое время в тени находились истинные мотивы, объясняющие, почему подсудимые Сталина признавались и каялись в самых неправдоподобных грехах. Мы не знаем до конца, как Сталин убил Кирова, какому варианту смерти Горького следует отдать предпочтение. И не покушался ли Сталин на жизнь самого Ленина, как подозревает Троцкий? Да и самого Сталина, может быть, убили (есть и такая версия)? И существуют две версии смерти жены Сталина.

Словом, фигура Сталина теряется во мраке благодаря непостижимости его планов и замыслов.

Тем не менее, во всем этом по-своему проявлялась ленинская логика, продолженная Сталиным дальше и доведенная до абсурда. Ведь с точки зрения Ленина, всякая оппозиция большевизму, всякая оппозиция его власти и его, ленинской, точке зрения, это выражение классовых и политических интересов буржуазии. Ибо, как марксист, какой-то личной идеологии Ле-

нин не признавал. Все в этом мире лишь выражение чьих-то классовых интересов. Поэтому своих политических противников Ленин постоянно зачислял в ряды буржуазии, и это типичная ленинская терминология, которую он раздавал направо и налево в своих статьях и речах, — “агенты буржуазии”, или “агенты международного империализма”, или “социал-предатели”, или “предатели рабочего класса” и так далее. При этом, с точки зрения Ленина, субъективная честность человека и его субъективное мнение или самоощущение, что никакой он не агент буржуазии и никакой не предатель, дела не меняют. Важно не то, что человек думает о себе, а чьи позиции он *объективно* выражает, независимо от собственной воли. Ибо в истории действуют лишь объективные законы классовой борьбы.

Вот эту ленинскую “объективность” Сталин и приложил в величайших масштабах и в новых поворотах уже к членам самой партии, к ветеранам революции, которые ему казались по-человечески подозрительными.

Конечно, Ленин выражался иносказательно, когда употреблял этот термин “агенты буржуазии” применительно, допустим, к меньшевикам или к западным социал-демократам. Или когда он говорил, что они “продают” интересы рабочего класса — он это слово “продают” понимал и употреблял метафорически, а не думал, что меньшевики буквально побежали к мировой буржуазии и получили у нее деньги. Или что меньшевики как агенты буржуазии пошли и завербовались в иностранную разведку. А вот Сталин все это трактовал уже буквально. Раз “агент буржуазии”, значит, буквально шпион. Сталин реализовал ленинские метафоры. И в этом смысле судебные процессы и казни 30-х годов есть не что иное, как реализация метафор.

И как это всегда бывает с реализацией метафор, в итоге получилась картина чудовишная и фантастическая. По стране всюду ползали какие-то невидимые “шпионы” и “диверсанты”, которых вылавливали, и тогда они становились видимыми, для того чтобы каждый прохожий на улице мог оказаться таким же скрытым врагом.

Но Ленин повинен не только в изобретении метафор — вроде “агентов буржуазии” или “лакеев капитализма”, еще при Ленине вошедших в официальный язык и быт советского государства. Ленин предусмотрел самые тяжелые наказания за то, что человек *объективно* является “агентом буржуазии”, выска-

зывая, допустим, свое несогласие с партийным курсом, с государственной политикой. В 1922 году в письме наркому юстиции Курскому Ленин требует: "расширить применение расстрела", в частности, за агитацию и пропаганду. А для этого в уголовном кодексе требуется "найти формулировку, ставящую эти деяния в связь с международной буржуазией". Обратите внимание: именно "связь с международной буржуазией" дает право на расстрел человека. А для этой связи не нужна буквальная завербованность человека в иностранную разведку. Достаточно, что своими высказываниями или писаниями человек объективно помогает международной буржуазии. И вот в другом письме тому же наркому юстиции Ленин находит такую формулировку и предлагает ее как свой, ленинский проект соответствующей статьи Уголовного Кодекса:

"Пропаганда или агитация, объективно содействующая... международной буржуазии" предусматривает расстрел (или высылку за границу).

Возьмем эту ленинскую формулировку и применим ее к сталинской эпохе. Ведь тогда любое высказывание, выражающее самую легкую критику государства и Сталина, рассматривалось как такая буржуазная агитация и пропаганда. Да и высказываться было не обязательно. Достаточно было подозрения, что человек мыслит как-то не так. Достаточно было случайной оговорки или опечатки.

Массовые аресты 37-го года коснулись в основном привилегированного слоя. Но в принципе мог пострадать каждый, ни к чему не причастный, человек. Одна домохозяйка, простая баба, увидела, например, во сне, что она, извините, отдается Ворошилову. А утром вышла на коммунальную кухню и рассказала об этом сне соседке. Та донесла в НКВД, и виновницу отправили в лагерь с забавной формулировкой: "за неэтические сны о вождах". Таких историй великое множество, и всех вариантов так называемой буржуазной агитации не перечислить.

* * *

На Первом съезде советских писателей среди других партийных лидеров выступал Ем. Ярославский. Ярославский сказал: "Что дала наша партия? Она дала образы несравненной красоты, железной воли, яркой беззаветной преданности (опускаю большую часть эпитетов превосходной степени, — А.С.) — не-

превзойденные характеры Ленина и Сталина (*аплодисменты*)... Где, в каком произведении, — спрашивает с упреком Ярославский, — вы показали во весь рост Сталина? (*Аплодисменты*)”.

Итак, Сталин это первый положительный герой среди ныне живущих людей. Сама идея положительного героя в советском искусстве ориентирована на фигуру вождя. В целом сталинскую эпоху допустимо представить сценой, о которой позднее поведал Хрущев и в которой неизвестно чего больше — искусства или действительности: у Сталина, рассказал Хрущев, была маниакальная страсть к прогулкам среди статуй с собственным изображением.

В принципе, подобную процедуру он мог исполнять как тяжелую, но необходимую повинность, демонстрируя свои изображения молящейся толпе ради ее нравственного и эстетического воспитания. Разумеется, как человека умного, его могла по временам раздражать возня вокруг его бюстов, портретов и прочих принадлежностей культа. Известен эпизод, когда Сталин явился в театр без предупреждения и проследовал прямо в правительственную ложу. А испуганный директор театра вдруг обнаружил, что в фойе нет бюста Сталина и лишь один бюст стоит в вестибюле. Пока шло первое действие спектакля — нашли второй бюст и поставили в фойе, украсив цветами. В антракте Сталин, проходя мимо, злобно буркнул, показав на собственный бюст: “А этот когда успел прийти?”

Но сам же Сталин этот культ насаждал: он мыслил себя в божественных измерениях. Он сказал Енукидзе, который попытался перед ним защищать Каменева и Зиновьева: “Запомни, Авель, кто не со мной — тот против меня!” (А. Орлов “Тайная история сталинских преступлений”). И — убил Енукидзе. Как бывший семинарист, Сталин не мог не помнить, Кому принадлежали эти слова — в Евангелии от Матфея.

Спрашивается: верил ли Сталин в собственные фантазии по поводу своей исключительности или по поводу организованных им массовых казней? Существует версия, что Сталин не верил в справедливость этих арестов и процессов, поскольку сам все это подстроил и пустил в ход. А в то же время — по свидетельству Хрущева — Сталин жил в воображаемом мире и шел на поводу собственного воображения. Очевидно, Сталин и верил и не верил своему воображению, как и подобает истинному художнику.

Лион Фейхтвангер в книге о Москве 1937 года приводит эпизод из своей беседы со Сталиным — "Сто тысяч портретов человека с усами":

"На мое замечание о безвкусном, преувеличенном преклонении перед его личностью, он пожал плечами. Он извинил своих крестьян и рабочих тем, что они были слишком заняты другими делами и не могли развить в себе хороший вкус, и слегка пошутил по поводу сотен тысяч увеличенных до чудовищных размеров портретов человека с усами, — портретов, которые мелькают у него перед глазами во время демонстраций. Я указываю ему на то, что даже люди, несомненно обладающие вкусом, выставляют его бюсты и портреты — да еще какие! — в местах, к которым они не имеют никакого отношения, как, например, на выставке Рембрандта. Тут он становится серьезен. Он высказывает предположение, что это люди, которые довольно поздно признали существующий режим и теперь стараются доказать свою преданность с удвоенным усердием. Да, он считает возможным, что тут действует умысел вредителей, пытающихся таким образом дискредитировать его. "Подхалимствующий дурак, — сердито сказал Сталин, — приносит больше вреда, чем сотня врагов". Всю эту шумиху он терпит, заявил он, только потому, что он знает, какую наивную радость доставляет праздничная суматоха ее устроителям, и знает, что все это относится к нему не как к отдельному лицу, а как к представителю течения, утверждающего, что построение социалистического хозяйства в Советском Союзе важнее, чем перманентная революция".

Сталин лицемерил. Запугать Лиона Фейхтвангера, как это делал со своими подданными, он не мог, и он его обманывал, желая понравиться иностранному писателю, в чем и преуспел. Фейхтвангер Сталина превознес в западной печати, в частности за его скромность. Но любопытно, на какие мотивы ссылается Сталин, объясняя собственный культ. В конце приведенной цитаты не случайно упоминается "перманентная революция", теоретиком которой был Троцкий. По сути, Сталин эту теорию усвоил и осуществлял по-своему. И коллективизацию, и чистки 30-х годов, и многое другое, что проводил Сталин, в принципе, допустимо рассматривать как перманентную революцию. Но здесь важно другое, — то, что Сталин портреты и ликование в свою честь расценивает, как победу над Троцким, некогда сво-

им главным врагом и конкурентом. Эта победа и увенчалась расстрелами 30-х годов, а вскоре и убийством Троцкого. В то же время Сталин вину за собственный культ старается спихнуть на мифических "вредителей", которые, якобы, хотят его дискредитировать. Этим он развязывает себе руки для дальнейших расстрелов — в том числе и тех, кто был ему предан. Наконец, Сталин извиняет этот культ наивностью рабочих и крестьян, которыми он правит. За этим скрывается тайная мысль Сталина, которую он и осуществил на практике, что только так этим наивным народом и народом вообще и можно, и нужно править.

Исследователи говорят, что Сталин обладал одной исключительно гениальной способностью. Он как никто разбирался в людях и видел их насквозь. И поэтому очень умело подбирал кадры. Людей талантливых или самостоятельных в руководстве он уничтожил и окружил себя исполнителями, которые никак не могли с ним конкурировать да и боялись этого пуще огня. Кроме того, удивительно разбираясь в людях, он умел так их расставлять и стравливать между собой, что в конечном счете это шло на пользу ему одному. В результате его жертвы располагались как бы цепями, подчас предварительно сыграв роль палачей. Скажем, расстрел Якира подписал среди других сначала маршал Блюхер, а затем сам Блюхер был расстрелян. "Одним из главных принципов убийств сталинского времени было уничтожение одним рядом партийных деятелей другого. А эти в свою очередь гибли от новых — из третьего ряда убийц" (В.Шаламов "Воскрешение лиственницы").

Громадный интерес и уважение Сталин испытывал к Макиавелли, которого можно назвать художником в политическом искусстве и в теории государственного управления. Очевидно, Сталин особенно ценил рекомендации Макиавелли в достижении и укреплении власти не брезговать никакими средствами.

А из русских исторических деятелей он ценил Ивана Грозного. У Алексея Толстого, который написал дилогию о Грозном, где восхвалял этого царя, есть в архиве запись телефонного разговора со Сталиным. Сталин лично позвонил Толстому по телефону, одобрил эту вещь, а по поводу личности Ивана Грозного сказал, что у царя был один недостаток. Казня бояр, тот

между казнями почему-то мучился угрызениями совести и калялся в своей жестокости.

Помимо садизма, было в Сталине нечто и от юродства грозного царя Ивана Васильевича. Светлана сообщает, что в 52-ом году Сталин "дважды просил новый состав ЦК об отставке. Все хором отвечали, что это невозможно... — комментирует Светлана. — Ждал ли он иных ответов от этого стройного хора? Или подозревал кого-нибудь, кто выразит согласие его заместить? Никто не осмелился этого сделать. Ни один не решился принять его слова всерьез. Да и хотел ли он в самом деле отставки? Это напоминало о хитростях Ивана Грозного, временами удалявшегося в монастырь, жалуясь на старость и усталость и приказывавшего боярам избрать нового царя. Бояре на коленях умоляли его не покидать их, боясь что любой избранный ими тут же лишится головы" ("Только один год").

Сталин играл в Ивана Грозного. Недаром, бывший чекист Орлов, оставшийся на Западе, рассказывает, что для проведения особо секретных операций за рубежом некоторым резидентам советской разведки был сообщен новый, специальный псевдоним Иосифа Виссарионовича — *Иван Васильевич*. "Псевдоним, — поясняет Орлов, — был весьма прозрачен — так звали любезного сталинской душе царя, Ивана Грозного, с которым у Сталина были к тому же одинаковые инициалы" ("Тайная история сталинских преступлений").

В отличие от Ивана Васильевича, Сталина, по-видимому, никакие грехи не мучили. Однако, при всей заурядности натуры, диапазон душевных его колебаний был достаточно широк, и играл он также, помимо театра людей-марионеток, на самых сокровенных и тонких струнах своей души. Светлана рассказывает: "Я думаю, что отец находил нечто для себя в своей любимой опере "Борис Годунов", которую часто ходил слушать в последние годы, часто сидя один в ложе. Однажды он взял меня с собой, и у меня мороз бежал по спине при монологе Бориса и при речитативе юродивого, страшно было оглянуться на отца... Может быть, у него в это время были "мальчики кровавые в глазах"? Почему он ходил слушать именно эту оперу?.."

Помимо режиссерских талантов, Сталин был великим актером. Об артистических способностях Сталина неоднократно упоминает Хрущев в своих "Воспоминаниях". Образцы удивительной актерской игры Сталина приводятся во множестве и

другими мемуаристами. Как, например, Сталин поцеловал лежащего в гробу Кирова, которого сам же убил. Как Сталин скорбел над телом Орджоникидзе, которого убил или довел до смерти. Авторханов пишет: "Я присутствовал на этом митинге, вблизи мавзолея, в снежный февральский день 1937 года. Я наблюдал за Сталиным — какая великая скорбь, какое тяжкое горе, какая режущая боль были обозначены на его лице! Да, великим артистом был товарищ Сталин!" ("Мемуары").

А вместе с тем Сталин умел очаровывать людей своими мягкими и обходительными манерами. Умел сохранять маску непроницаемости, за которой скрывалось что-то непредсказуемое... И умел — одной лишь неторопливой интонацией — сообщать глубочайшую мудрость простым и плоским речением.

Сама власть его привлекала, помимо прочего, как игра человеческими жизнями. Глубоко зная людей и глубоко их презирая, Сталин к ним относился как к сырому материалу, с которым можно делать что угодно, осуществляя в истории некий замысел своей личности и судьбы. Он был в собственных глазах единственным актером-режиссером, а сценой была вся Россия и шире — весь мир. В этом смысле Сталин был по натуре художником. Отсюда, в частности, и многие отклонения Сталина от Ленина в сторону культа собственной личности. Отсюда же его капризный деспотизм, а также подготовка и развертывание судебных процессов как сложно-увлекательных детективных сюжетов и красочных спектаклей. И его спокойная маска на публике, маска мудрого вождя, который абсолютно уверен в своей правоте и непогрешимости и поэтому всегда спокоен. Хотя в душе, наверное, у него клокотали страсти.

Сталин любил заманивать свою жертву оказанным почетом и в то же время иногда немного пугать, выбивая из равновесия, играя как кошка с мышью. Сталин любил держать человека на приколе, допустим, оставляя его на высоком посту, но арестовав жену, брата или сына. Перед тем, как расстрелять, он, случалось, не понижал, а повышал человека в должности, создавая у того ложное ощущение, что все благополучно.

У крупного партийного деятеля Отто Куусинена Сталин как-то спросил, почему тот не хлопочет об освобождении сына. Тот ответил: "Очевидно, были серьезные причины для его ареста". Сталин усмехнулся и распорядился — освободить.

Сталин как бы проверял на людях силу и магию своей

власти, и если человек проявлял покорность, Сталин иногда оказывал милость. Но здесь не было строгой закономерности. Человек мог как угодно ползать перед ним на брюхе, а Сталин его топтал. В игре с человеком и над человеком Сталину важно было придать своей власти непостижимую загадочность, высшую иррациональность. В нем была, по всей вероятности, и самая подлинная иррациональность, но Сталин ее еще сгущал, театрализовывал и декорировал. Это соответствовало и жившей в нем художественной струне, и стремлению придать своей власти религиозно-мистический акцент, и его скрытному, всегда как бы затаенному, характеру.

По сравнению со Сталиным, Ленин кажется человеком открытым, насколько, конечно, это вообще возможно для диктатора. Ленину не было надобности скрывать что-то особенное или тайное в своей душе и личности, поскольку он весь или почти весь раскрывался в своих рациональных построениях и в своей рациональной деятельности. А Сталину было что скрывать. Поэтому, кстати, имя и личность Сталина окружены легендами самого разнообразного сорта, которые иногда совпадают с фактами, а иногда от них отклоняются, но не настолько, чтобы легенду нельзя было принять за факт.

Некоторые историки прошлого — например, Светоний — строили свои труды во многом как собрание анекдотов и занятных достопримечательностей из жизни того или иного героя. И этот полуфольклор служит нам историческим источником в изучении отдаленных эпох. Нам не так уж важно — правда это, или вымысел, или домысел, поскольку сам домысел бывает реальнее фактов. Примерно то же происходит с легендами о Сталине. За фактическую их достоверность нельзя ручаться. Но важно то, что они соответствуют эпохе и образу Сталина в ней, метафизике его личности.

Например: "Рассказывали, что он /Сталин/ позвонил по телефону в редакцию молодежной газеты, и заместитель редактора сказал:

— Бубекин слушает.

Сталин спросил:

— А кто такой Бубекин?

Бубекин ответил:

— Надо знать, — и шваркнул трубку.

Сталин снова позвонил и сказал:

— Товарищ Бубекин, говорит Сталин, объясните, пожалуйста, кто вы такой?

Рассказывали, что Бубекин после этого случая пролежал две недели в больнице — лечился от нервного потрясения”.

(В. Гроссман “Жизнь и судьба”)

По этим анекдотам и множеству других видно, что Сталин любил не просто проявлять власть, но, пользуясь своим положением, производить попутно всякого рода затейливые “художества”. К наиболее добрым из них принадлежит придуманная им игра с маленькой Светланой, документально зафиксированная в их переписке. Дочь Светлану он ласково именовал “хозяйкой”, а себя, всемогущего хозяина страны, аттестовал ее покорным “секретарем” или бедным “секретаришкой”. Рядом же подписывался звучным именем — “Сталин”, а членов Политбюро называл также ее “секретарями” или “секретаришками” (“Двадцать писем к другу”). Ему нравилось нарочито и шутивно уничижать себя перед девочкой, демонстрируя, что он настолько властен, что и высшую свою власть ни во что не ставит.

Сталин, по-видимому, был большим юмористом. Стоит по этой части сравнить его с Лениным. Ленин с грустью признавался Горькому, что лишен чувства юмора. И это можно понять. Ведь Ленин — ученый, притом рационалистического склада, которому юмор не нужен. Одно из проявлений иррациональной, художественной природы Сталина — его юмор. Правда, это по преимуществу черный юмор, но все же юмор. Этим юмором Сталин наслаждался, владея жизнью и смертью людей, которым он мог принести зло, а мог принести добро. Сталин стоял как бы уже по ту сторону добра и зла. И, сознавая это, чаще всего прибегал к черному юмору, который заключался в колебаниях смысла, так что зло могло обернуться добром, а добро — злом. Когда, допустим, Сталин проявлял ласковость к человеку и в то же время показывал когти, угрожая его убить. Но та же угроза убить могла закончиться вознаграждением. В этой безграничной возможности подменять добро злом и наоборот — проявлялась непостижимая загадочность Сталина. И потому лучшим выражением сталинского юмора был — труп. Но не просто труп и не труп врага, а труп друга, который любил Сталина и которому все же Сталин почему-то не доверял...

Это проявлялось и в большой политике. Сталин убил Кирова, а затем, приписав это убийство своим идейным противни-

кам, развязал цепь образцово-показательных судебных процессов. Это был гениальный ход сталинской тактики и политики. Но вместе с тем, убив Кирова, Сталин сделал из Кирова великого вождя. Раньше Киров был известен лишь партийным кругам. А после гибели он превратился в великую историческую личность, известную всей стране, и в лучшего друга Сталина. Сталин назвал его именем ряд городов: "Кировск", "Кировоград", "Кировакан" и так далее. И это стремление увековечить Кирова и ввести его имя даже в географию России было вызвано не только тактикой — замести следы, но, главным образом, на мой взгляд, черным юмором Сталина. Сталин как бы платил Кирову после его убийства, выводя Кирова в люди, в главные герои советской истории. Может быть, в этом выражалась тайная благодарность Сталина — Кирову за то, что дал себя убить.

* * *

Сталин любил искусство — литературу, кино, театр, всевозможные ансамбли песни и пляски. Это кажется невероятным, но Сталин любил искусство куда больше, чем Ленин, который искусством мало интересовался. Сталинские собственно-художественные вкусы представляли странную смесь самых грубых и варварских пристрастий с тонкостью и пониманием. И это естественно. Сталин — плебей и деспот с какими-то необыкновенными художественными задатками. Ничего подобного мы не найдем у Ленина. Сталин — дикарь по сравнению с интеллигентом Лениным. Но этот дикарь прочел больше художественных произведений, чем Ленин, читавший в основном политическую и научную литературу. А Сталин весьма внимательно следил за развитием советской литературы. Правда, это внимание ей дорого стоило. Но показателен уже сам факт подобного вмешательства, который свидетельствует о неравнодушии Сталина к эстетике. Это было вызвано не только заботами главного цензора, но и внутренним побуждением и пристрастием к искусству. Отсюда мы находим у Сталина и самые нелепые суждения в этой области, и отдельные проявления глубокой проницательности. Достаточно вспомнить знаменитый сталинский афоризм по поводу поэмы Максима Горького "Девушка и смерть". На экземпляре этой — очень слабой — поэмы Сталин начертал: "Эта штука сильнее, чем "Фауст" Гете". Но в то же время Сталин сумел оценить Маяковского как лучшего

советского поэта и сделал это не только из политических соображений. В текущей литературе Сталин разглядел повесть Виктора Некрасова "В окопах Сталинграда" — лучшую повесть о войне. А из писателей, идеологически ему чуждых, Сталин испытывал слабость к Михаилу Булгакову и потому оставил его в живых. О Достоевском Сталин как-то сказал Светлане, что тот был "великий психолог". "Наверное, — предполагает Светлана, — он находил в Достоевском что-то глубоко личное для себя самого, но не хотел говорить и объяснять, что именно".

Сталин — это человек, развращенный властью, но как никто понимавший природу власти. И одна из самых главных пружин сталинской власти — тайна, которой он себя окружил. Поэтому Сталин не просто безжалостный диктатор, но своего рода гипнотизер, сумевший поставить себя на место Бога и внушить людям соответствующее отношение. Сталин понимал, что власть должна быть таинственной, и этой таинственностью как бы окутан культ Сталина. Отсюда и ощущение, что Сталин все знает или все видит. То есть, присвоение себе божественных полномочий — всеведения. При Сталине невероятно разросся аппарат тайной полиции, проникая во все поры советского общества. Но помимо своих прямых, карательных функций это имело еще значение величайшей таинственности, с какой осуществлял свое дело всеведущая и всемогущая власть.

Когда умер Сталин, многие думали, что все погибло. Причем так думали даже люди, политически совсем не приверженные режиму и не обожавшие Сталина. Просто персона Сталина превратилась в синоним всего государства и самой жизни на земле. "Нас имя Сталина ведет, а Сталин — это жизнь" (Александр Твардовский). Недаром солдаты во время войны шли в атаку и воевали под одним девизом: "За Родину! За Сталина!" Сталин был адекватен Родине.

Известны случаи посмертных явлений Сталина. Писатель Леонид Леонов в частной беседе с суеверным ужасом рассказывал, что после хрущевских разоблачений Сталина, когда его имя повсюду вычеркивали, Леонов со своей редакторшей как-то весь вечер, готовя переиздание, в очередном томе сочинений снимал имя Сталина. И вот редакторша, уходя от Леопова упала на лестнице и сломала руку. Леонов совершенно серьезно уверял, что это была месть самого Сталина, который, дескать, на темной лестнице подтолкнул старенькую редакторшу. И я,

прибавлял Леонов, с тех пор себя тоже плохо чувствую.

Так это или не так — мы гадать не будем. Ибо нас интересуют не эти привидения, а то очарование, пускай мрачное, которое умел внушать Сталин и при жизни и после смерти. Объяснение этому — глубокая тайна, которой он обставил свою власть и собственную личность. Сталин угадал, что сила власти во многом в ее тайне.

Магическое воздействие Сталина (если представить это схематически) распадается на две части — светлую и темную. Соответственно, одна половина сталинской личности пребывает как будто в ярком свете дня. Днем ликуют народы, возводятся постройки, совершаются парады, расцветает искусство социалистического реализма. Но главные дела производятся ночью — и аресты, и расстрелы, и политические интриги, и государственные заседания, объединенные с ночными застольями, исполненными черного юмора и зловещего шутовства. Этот ночной стиль жизни отвечал тайне, которую Сталин вложил в само понятие, в само содержание власти. Поэтому, между прочим, о Сталине так интересно читать. Тайна затягивает, засасывает. Книга Александра Орлова называется "Тайная история сталинских преступлений". Это звучит как музыка, как название какого-нибудь увлекательного романа: "Парижские тайны", "Таинственный остров", "Тайна двух океанов". Сталин, можно сказать, сумел превратить историю советского общества в тайную историю своих интересных преступлений...

Оглядывая сталинскую эпоху, я не нахожу в ней художника, который был бы достоин Сталина и отвечал бы его грозному "ночному" иррациональному духу. Таким художником при жизни Сталина мог быть, очевидно, лишь сам Сталин. Всех прочих художников, которые могли бы с ним соперничать в искусстве или в жизни, он устранил. А основной массе писателей предоставил идти по светлой дороге соцреализма, отвечавшей только "дневной" стороне его натуры и работы. Но до одной таинственной книги он все же не добрался, и она нам досталась много лет спустя, как прижизненный памятник той уникальной эпохи.

Я имею в виду роман Булгакова "Мастер и Маргарита", написанный в то самое время, когда с невероятной силой проявился иррационализм Сталина. Роман Булгакова теснейшим образом связан со "сталинской" проблематикой, хотя ею, конеч-

но, не ограничивается. Воланд, т.е. сам Сатана, благоволящий Мастеру, это до некоторой степени Сталин, благоволивший Булгакову, — Сталин, представленный в темном, черном и все же идеализованном образе.

В 1930 г. Булгаков написал письмо Советскому Правительству, где рассказал, как его затравила критика и цензура, как он, отчаявшись, бросил в печку черновик романа о дьяволе — т.е. предшествующий "Мастеру и Маргарите" текст. Булгаков просил Правительство отпустить его на свободу, в эмиграцию, либо каким-нибудь образом его трудоустроить. В том же письме Булгаков рекомендовал себя: "я — мистический писатель", предпочитающий "черные и мистические краски".

Булгакову, по поводу его письма, позвонил по телефону Сталин и, между прочим, спросил: "Что, мы вам очень надоели?" По-видимому, эта реплика поразила Булгакова, и он ее воспроизвел. В "Мастере и Маргарите" Воланд спрашивает Маргариту после "Великого бала": "— Ну что, вас очень измучили?.."

Да и сам этот "Великий бал у сатаны" представляет собою некий апофеоз зла, квинтэссенцию преступлений, достигших предела и сосредоточенных в Сталине. Все злодеи мира собраны здесь — у Воланда, у Сталина.

Допустимо отметить множество других аллюзий. Скажем, когда Афраний после казни Христа говорит Пилату, поднимая чашу: "— За нас, за тебя, кесарь, отец римлян, самый дорогой и лучший из людей!.." Перед нами очередной намек на Сталина. Но главное не отдельные намеки и не прямые ссылки на современность, а вся атмосфера романа, пронизанная сталинскими темными токами. Атмосфера какого-то массового гипноза, психоза, в котором находится общество, следуя путем доносов и разоблачений, где само ГПУ, тюрьма и допросы представлены как некий театр — в подражание сталинскому театру разоблачений и репрессий. Недаром в центре событий в романе Булгакова поставлен сумасшедший дом, в конечном счете охватывающий всю Москву.

Не сговариваясь с Булгаковым и не будучи мистиком, Хрущев сравнивал сталинскую эпоху с сумасшедшим домом, где лично ему, Хрущеву, случайно повезло: достался, говорит Хрущев в мемуарах, "счастливый лотерейный билет", и потому он остался в живых и не попал во враги народа. Лотерейный билет, как выяснилось, состоял в том, что Хрущев учился в пром-

академии вместе с женой Сталина и защищал позиции Сталина, а та по женской наивности все пересказывала мужу, и Сталин навсегда запомнил: Хрущев — свой, сталинский человек. Впрочем, Сталин тоже как-то обмолвился, что "мы живем в сумасшедшее время".

Л. Троцкий писал в 37 году, что преступные черты в Сталине приняли "поистине апокалиптические размеры" и называет его подлоги "чудовищными", сравнивает их с "кошмаром" и "бредом". Все эти эпитеты действительно передают духовный портрет Сталина и его эпохи, хотя слабо вяжутся с марксизмом. А "мистический писатель" Булгаков прозревал реальность, что тогда не удавалось никаким "реалистам". Булгаков показал, что советская история вступила в область непознаваемого, в поле действия каких-то демонических сил.

Недавно в "Литературной газете" была напечатана статья В. Каверина "Взгляд в лицо". В ней он, в частности, говорит об актуальности романа "Мастер и Маргарита" и для той эпохи, когда роман писался, и для наших дней. По словам Каверина, роман Булгакова, где властвует "фантастика, отмеченная современной остротой", это "свежий воздух", ворвавшийся наконец-то в советскую литературу: "...Мы ведь годами жили, делая вид, что литература не уклоняется от правды. Между тем она становилась целенаправленной, но пустой". А далее Каверин утверждает, что в годы Сталина "сложилась та общественная атмосфера, плоды которой мы никак не изживем до сих пор". Это означает, что дух Сталина продолжает действовать и, между прочим, питает собою искусство. Оказалось, и "тьма" бывает иногда благотельной...



О ТОВАРИЩЕ СТАЛИНЕ ЧИТАЙТЕ:



Лев Троцкий, СТАЛИН. Том 1-2. CHALIDZE PUBLICATIONS

Р. А. Медведев, К СУДУ ИСТОРИИ. ALFRED A. KNOPF, N-Y.



НЕСКОЛЬКО РАССКАЗОВ О ВОЖДЕ

Из собрания Г.М.

Рассказы о событиях, где действуют вчерашние исполнители первых ролей исторической драмы, — жанр, которому может быть найдено свое место в исторической литературе. Эти, по выражению Пушкина, "table-talk" (или еще — "дней минувших анекдоты") не только делают историю более живой. Они, будучи соотнесены с ролью рассказчика и датами, приобретают значение свидетельств, хотя и требующих самого серьезного и придирчивого — с привлечением новых источников — обследования, зато способных выдать существование подчас целого массива исторических фактов, забытых или погребенных.

Участники событий хранят в своей памяти острые ситуации, неожиданные мизансцены, закулисные эпизоды, выпукло проясняющие как раз то, что не всегда найдешь в ученых сочинениях: конкретные обстоятельства сцепления событий, индивидуальные черточки характеров (без чего неполно наше понимание роли конкретных личностей в истории).

"Исторические анекдоты" — неоценимый материал для социально-психологического исследования эпохи. В них — оттенки человеческих отношений не только внутри самой фабулы рассказа: тон рассказчика, его взгляд, обращенный "наверх", помогают, в частности, проследить, как и на чем строилась пирамида власти.

Наконец, в "застольные разговоры" вслушивается и тот, кто изучает историческое самосознание народа в его динамике и во всей сложности его внутренней структуры.

1.

Совещание по вопросам оборонной промышленности.
Председатель — Ворошилов, Сталин — сбоку. Оживленная бата-

Прислано из России.

лия. Один молодой человек, конструктор, в острой форме спорит со своим наркомом. По окончании Сталин вслух:

— Кто такой этот невоспитанный молодой человек?

Окружение догадывается:

— Товарищ Сталин, это очень способный молодой конструктор, но, действительно, не умеет себя вести, неопытен, — и т.д.

Сталин, немного помолчавши:

— А нельзя ли его немножечко арестовать?

Конструктору дали пять лет.

(Слышал от бывшего работника ЦК).

2.

Со слов старого работника "Известий":

Н.И. Бухарин писал как-то при нем записку Сталину.

Начал, как всегда: "Дорогой Коба!" Дописав записку до конца, потом несколько раз выправлял ее, перечеркивая и надписывая слова.

Рассказчик, тогда еще сравнительно молодой и неискушенный человек, заметил:

— Николай Иванович, так проще же перепечатать.

Бухарин опасливо отмахнулся:

— Что вы, что вы! Да ведь он подумает, что я оставляю копию. Нет, так лучше, только так.

Дело происходило в 1934-35 гг.

3.

Есть знаменитый снимок: Ленин среди делегатов Десятого съезда РКП (б). Рядом с ним — красивый парень в буденновке, с рукой на перевязи и двумя орденами Красного Знамени. Это и есть Рудольф Павлович Хмельницкий, среди близких — Руда, многие годы — адъютант Ворошилова.

Со Сталиным хорошо знаком: "Я не раз видел его в кальсонах, когда докладывал ночью или рано утром о действиях ОДВА в Маньчжурии" (1929, инцидент с КВЖД). Сталин любил слушать в его исполнении бабелевского Бенью Крика.

В "чистку" Хмельницкий не попал, но вот рассказанный им эпизод, относящийся к концу 1939 либо самому началу 1940 (время провала ворошиловского "блицкрига" и расправы с командармом Г.М. Штерном).

Хмельницкого вызывают в Кремль. Он входит в кабинет Сталина, где, видно, только что закончилось заседание. Все стоит группами, у Ворошилова явно смущенный вид.

Сталин, поворачиваясь к вошедшему:

— Мы располагаем данными, что Вы — английский шпион...

— Товарищ Сталин, Вы же знаете меня многие годы... Вы же понимаете, что это невозможно!

— А вот мы спросим у Власика, у него есть неопровержимые доказательства.

Власик, комиссар госбезопасности, начальник личной охраны Сталина, молча стоит в отдалении. Хмельницкий продолжает уверять Сталина в своей невиновности, вновь ссылаясь на близкое знакомство и пытаясь апеллировать к Ворошилову, который тоже молчит.

Сталин:

— Хорошо, если ты так уверен в себе, поезжай на финский фронт и принимай корпус. Постарайся оправдать доверие.

Финал сцены: уходящему Хмельницкому Берия — видимо, в знак особого расположения — всовывает в карман галифе вафельную трубочку с кремом.

После смерти Сталина генерал Р.П. Хмельницкий не раз бывал у своего бывшего патрона. Ворошилов наливал рюмочку водки и, наклонившись, тихо говорил:

— Выпьем за товарища Сталина.

Этот рассказ Хмельницкого вспомнился мне, когда в журнале "Смена" (1981, № 18, стр. 19) я наткнулся на такую сцену:

Нюрнберг. Риббентроп смотрит фильм с Гитлером — и шепчет соседу:

— Я снова весь в его власти.

Г.М.

4.

Сразу после войны. Заседание Политбюро ЦК. Обсуждается проект создания океанского военного флота. Докладывает Н.Г. Кузнецов.

Ворошилов, который болезненно перенес в свое время выделение наркомата ВМФ (говорят, он очень любил, будучи наркомом, надевать морскую форму и ездить на флотские учения), по инерции оппонирует, ссылаясь на то, что большие ассигнования на флот могут ослабить довооружение сухопутных сил.

Сталин явно недоволен. Уловив это, Каганович и Берия тут же отмежевываются от Ворошилова: он-де неправ.

Сталин (постукивая карандашом по столу):

— Очен харашо, но астается нэвыясненным адын вапрос: пачэму товарищ Варашилав заинтэрэсован в ослаблэнии военного магушэства нашей страны?

Смертельно бледный Ворошилов жалко улыбается. Кто-то еще выступает. Проект Кузнецова принимается.

В заключение — Сталин вновь:

— А все-таки астался нэвыясненным адын вапрос...

Заседание кончилось. Согласно ритуалу, все направляются в кинозал (посещение кино обязательно). Выбор картин производит всегда сам Сталин, и поэтому соратники вынуждены смотреть его любимые ленты по десятку раз.

Все рассаживаются по двое-трое за столики, только Ворошилов теперь одинок. Смотрят "Огни большого города" с Чарли Чаплиным: любимый фильм Сталина, обожавшего, по рассказам, сентиментальное.

Всем полагалось смотреть фильм от начала до конца, а Он приходил к излюбленным местам. В этот раз, когда прозревшая благодаря стараниям бродяги девушка-цветочница узнает своего возлюбленного, Сталин сел рядом с Кузнецовым — и тот заметил, что генералиссимус вытирает платком набежавшие слезы...

Картина окончилась, все встают. Сталин подходит к Ворошилову:

— Клим, дарагой наш Клим, ти что-то плохо выглядишь... Тибэ надо атдахнуть... Поезжай, атдахни.

Остальные окружают Ворошилова и убеждают его хором, что ему непременно и немедленно "надо отдохнуть".

(По воспоминаниям Н.Г. Кузнецова)

5.

Действующим лицом, кроме Сталина, является В.А. Малышев (1902-1957): к 1937 — главный инженер Коломенского паровозостроительного завода, а через три года — зампред СНК. Позже, в 1953, Малышев возглавит атомную промышленность страны (министр среднего машиностроения СССР) и умрет, кажется, от лучевой болезни.

Время действия — первые месяцы войны. Место — подземный переход из Кремля в бомбоубежище.

То ли тревога, то ли что... Малышев то ли догоняет, то ли идет навстречу Сталину. Здоровается. Сталин, погруженный в июльские думы, не отвечает на приветствие, поднимает голову, произносит: "Вы еще не арестованы?" — и идет дальше.

Оканчивается война. Малышев — генерал-полковник, нарком танковой промышленности, Герой Социалистического Труда. Прием в Кремле после Парада Победы. Сталин обходит столы, приветствуя и чокаясь.

Доходит очередь до Малышева:

— За Ваш вклад в победу!.. А помните, товарищ Малышев, маленький эпизод в начале войны?

— Как не помнить, товарищ Сталин.

— Вот видите, товарищ Малышев, даже в самые тяжелые для нашей Родины дни мы, большевики, не теряли чувства юмора!

6.

Рассказчик — историк NN — опирается на архивный документ, содержащий материалы совещания в ЦК. Действие происходит после XVII партсъезда, но до ноябрьского пленума ЦК. Возможно, весной 1934 или, скорее, в июле.

Шло совещание первых секретарей обкомов и крайкомов. Обсуждались вопросы сельского хозяйства. Конкретно решался вопрос о судьбе политотделов. Явственно намечалось их упразднение: они уже осуществили свое ударное действие. Идея эта, видимо, не встречала возражения; не исключено, что исходила она от Сталина. В поддержку высказались Калинин и другие.

Резко отличалось выступление Кирова (далее передается суть, не текст):

— Конечно, упразднить. Но главный вопрос заключается в другом — пора *восстановить советскую власть в деревне* (выделенные слова NN передает текстуально).

Контрастом, хотя и не прямым ответом (по собственному впечатлению NN) прозвучало выступление Сталина. Особенно запомнился следующий пассаж:

— Вот вы все — радетели колхозов. А подумали ли вы о том, что если колхозникам будет житься так хорошо, что они не захотят уходить из родных мест, то кто будет рубить уголь и валить лес?

7.

Известно, что Сталин сам председательствовал на заседаниях по присуждению Сталинских премий. Естественно, давал волю своим капризам и своему "гарун-аль-рашидству": некоторые его слова и поступки явно были рассчитаны на то, что весть о них разойдется по Москве. Вот три тогдашних притчи.

Заседание. Обсуждается роман С.П. Злобина "Степан Разин". Подымается философ В.С. Кружков, бывший тогда зав. отделом пропаганды ЦК, и докладывает (как аргумент для отвода), что Злобин-де во время войны был в плену и, говорят, не очень благовидно вел себя там (имел дело с продуктами? или что-то переводил?).

Сталин похаживает и раздумчиво спрашивает:

— А в каком году товарищ Злобин попал в плен?

— Кажется, в сорок первом, товарищ Сталин.

— А не пора ли забыть?

Злобину присуждают премию.



Сталин:

— А почему нет товарища Эренбурга среди выдвинутых на премию?

Кружков или кто другой из присных объясняет, что роман еще не кончился печатанием.

Сталин:

— Я с нетерпением жду выхода каждого номера журнала.



Каганович предлагает не то туркменский роман, не то роман о Туркмении (как будто бы переводной). Говорит, что он очень хорош и в идейном, и в художественном отношении.

Сталин:

- Не верю.
- Нет, действительно так, товарищ Сталин. Роман вышел.
- Вкусу Вашему не верю.

8.

Незадолго до XIX съезда появилась брошюра Сталина "Экономические проблемы социализма в СССР". Естественно, в докладе Маленкова воздавалось должно открытиям, сделанным в "гениальном труде товарища Сталина". К их числу был отнесен экономический закон обязательного соответствия производственных отношений характеру производительных сил.

Текст доклада, надо полагать, был предварительно представлен Сталину и получил его одобрительную визу. Тем любопытнее звонок, раздавшийся после съезда Шепилову (возможно, впрочем, что разговор был личный, а не телефонный).

Необходимое пояснение: Шепилов был председателем Идеологической комиссии — одного из нововведений Сталина — и в этом качестве подчинялся Сталину непосредственно (а секретарь ЦК Суслов являлся рядовым членом ее). Д.Т. Шепилов являлся одним из основных авторов отчетного доклада ЦК — по крайней мере, теоретического раздела доклада.

Сталин:

— Вы там приписали мне закон соответствия производственных отношений характеру производительных сил. Разве вы не знаете, что этот закон открыл Марксом?

Шепилов что-то бормочет в разъяснение, ссылаясь и на то, что доклад уже опубликован.

Сталин:

— Ну и исправьте.

В какой-то части тиража соответствующее место было исправлено.

Патриарх Алексий во время личной аудиенции у Сталина попросил разрешения открыть Духовную академию ввиду нехватки священников.

Сталин, укоризненно:

– Куда же они у вас девались? Кадры надо беречь!

Алексий не стал напоминать, как поступили с "кадрами" в двадцатые-тридцатые годы. Сказал другое:

– Да ведь готовили митрополита, а получился генералиссимус.

Ответ понравился. Разрешение было дано, а кроме того – прислан в подарок личный автомобиль.

(Записано в Загорске).

10.

Из рассказа мидовца о конференции в Потсдаме (1945):

Знаете, как все это занятно выглядело! Ну, скажем, приезд...

Первым приезжает Трумэн, окруженный эскортом американских мотоциклетчиков, у которых сняты глушители – и потому треск несусветный. Затем с солидной охраной прибывает солидный Черчилль. И наконец медленно движется машина без всякого видимого сопровождения. Выходит Сталин, за ним Молотов. Сталин неторопливо подходит к девушке-регулировщице, здоровается с ней и направляется в зал заседаний. Импульзантно?

Иностранцев эта скромность весьма впечатляла. Не знали же они, что из всей округи выселены все немцы и в оставшихся от них зданиях расположена дивизия войск НКВД.

11.

Сталин пришел на день рождения к Жданову, и там сын А.А. Жданова Юрий впервые познакомился с ним.

Сталин спросил Юрия, чем он занимается. Тот ответил, что по профессии он химик, а сейчас учится в философской аспирантуре. Сталин одобрил:

– Очень хорошо. Только не занимайтесь политикой. Политика – грязное дело.

Вот и все знакомство. Юрий Жданов вскоре сделался зятем Сталина — мужем Светланы.

12.

Рассказ потомственного текстильщика:

Был у нас в Иваново один прославленный директор. Ивановец родом, большевик с дореволюционным стажем. Руководил старейшим предприятием.

В начале тридцатых проходило в Москве совещание текстильщиков. Присутствовал Сталин. Директор наш выступил очень удачно, привлек к себе общее внимание. Сталин-то его и раньше знал.

В перерыве директор в кругу других оживленно обменивается впечатлениями. Подходит Сталин:

— Очень хорошо ты выступил... Но изменился, постарел.

Директор в ответ:

— Что поделаешь, товарищ Сталин: все стареем. Не успеешь повернуться — и конец близок.

Сталин, не отреагировав, повернулся и пошел.

Всего любопытнее реакция первого секретаря ивановского обкома, свидетеля этой сцены:

— Что ты наделал? Разве ты не знаешь, что он не терпит ни малейшего намека на смерть?!

Для спасения директора секретарь обкома решил перевести того в незаметный глухой посад. Удалась ли попытка — неизвестно.



Елена Зелинская

ПЕПЕЛ КЛААСА СТУЧИТ В МОЕ СЕРДЦЕ!

В какой-то газете прочитала: для одних это были пятилетки, стройки коммунизма, энтузиазм, для других – ночные аресты, пересыльные лагеря, а потом... белые листочки: "реабилитирован за отсутствием состава преступления"...

Для меня это навсегда останется загадкой: как кому-то удавалось НЕ ЗНАТЬ, НЕ ВИДЕТЬ, НЕ СЛЫШАТЬ ночных звонков в соседнюю квартиру, грохота сапогов на лестнице, отворачивались они, что ли, проходя мимо воронок у подъезда? И не они ли потом так же бесшумно занимали опустевшие квартиры?

Что это было? Массовый террор, переходящий в массовый психоз с последующим коллективным прозрением? Или наоборот: сначала психоз, а потом террор? Впрочем, черт с ними, с глухонемыми.

Были еще и третьи. Те, кто подписывал ордера на аресты, те, кто пытками и мучениями вынимал из своих жертв бессмысленные признания, те, кто "приводил в исполнение" приказы о расстрелах. Те, кто – как это у нас интеллигентно называется – "нарушал социалистическую законность". Сколько их? Сколько требовалось людей, чтобы стряпать эти грязные "дела", гнать по этапам, охранять, содержать, в конце концов, эти бесчисленные лагеря? Где они?

Данная статья перепечатывается из журнала "Меркурий" – периодического издания ленинградского Совета культурно-демократического движения "Эпицентр".

Говорят, что живет под Ленинградом человек, который лично расстрелял Николая Гумилева. В 1954 году его "перевели на другую работу", в Архангельск. Угадайте, дети, что он там делал? — Правильно! Сажал кукурузу. И стал ведущим специалистом по выращиванию кукурузы в условиях Севера. С тем и приехал в Ленинград. Заведовал кафедрой. А теперь угадайте, в каком году он ушел на пенсию. Вот именно, в 1961 г. У него персональная пенсия, дача с парниками, хорошо пристроенные дети и внуки — он пенсионер союзного значения!

Если это всего лишь легенда, то мне еще страшнее. Мечь, как и ненависть, бесплодное чувство. Именно поэтому много веков назад человечество отказалось от самосуда и передало право вершить суд государству. А если государство не исполняет этого своего святого долга? Если, являясь держателем контрольного пакета акций на правду, оно отпускает нам ее порционно?

С высокой трибуны прозвучали две страшные цифры: 1937-1938. Следует теперь ожидать потока разоблачений, которые будут строго держаться в указанных временных рамках. Да уже и началось. В "Огоньке" опубликовали письмо Федора Раскольниковца к Сталину. Сверяя с тем захваченным машинописным листком, который долгие годы ходил по рукам: надо же, почти все. А когда будет ВСЕ?

УМОЛЧАНИЕ УРАВНИВАЕТ ЖЕРТВУ И ПАЛАЧА.

Долгие годы не произносили — будто и не было — имен Мандельштама и Хармса, Тухачевского и Николая Вавилова. Потом стали просачиваться — по строчке, по дате — и мы читали, горько усмехаясь: умер в 1937 году. Еще через пару лет: реабилитирован посмертно. Уже теплее. Незаконно репрессирован. Совсем близко. Да что Вавилов, если молчали о гибели целых народов. И вслед за этим, искалеченным, подрастало следующее поколение, поколение "детей врагов народа", затравленное, запуганное до того, что страх проел им кожу до генов и нам передался. Поколение, которое с завистью смотрело на братские могилы, могилы солдат, погибших в последнюю войну, у них и этого не было, не было отцов, павших смертью храбрых, погибших с честью, защищая свое Отечество. Что защищали они в лагерях, лишённые ВСЕГО? За что, какой смертью пали, не оставив детям даже своего честного имени?

... И как вечный огонь, как посмертная слава,
Штабеля, штабеля, штабеля лесосплава...

(На тревожный вопрос о судьбе одной забытой русской писательницы я ответила: нет, нет, не волнуйся, она умерла естественной смертью, в блокаду).

Месть — бесплодное чувство. Смешно и нелепо представлять, как их будут выволакивать с их персональных дач, этих монстров, бывших следователей, охранников, палачей, старых, гнусных и жалких монстров, — с кем судиться?

НО ПРЕСТУПЛЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НАЗВАНО ПРЕСТУПЛЕНИЕМ!

Мало, безумно несправедливо, бессмысленно мало печатать сейчас в "Огоньках" и "Юностях" печальные мартирологи погибших бесславной и страшной этой смертью. До тех пор, пока Варфоломеевская ночь, растянувшаяся почти на два десятилетия, будет скромно называться "нарушением соц. законности", кровавые убийцы, банда палачей — "людьми, оказавшимися у власти", а их прихвостни, холуи, "исполнители приказов" — персональными пенсионерами, до тех пор не поднять нам страну из этой пропасти лжи и позора.

Есть в истории прецедент — Нюрнбергский процесс.

Высший смысл его — не в осуждении даже военных преступников, не в историческом решении: за преступление отвечает как отдавший приказ, так и исполнивший его, но в том очищении, которое он принес немецкому народу. И только после этого суда, как вышедший из тюрьмы на свободу, принявший искупление человек, могут они честно — не знаю, как уж спокойно, — смотреть в глаза всему миру.

Меня спросили: а где, в каком городе поставила бы ты памятник жертвам сталинского террора? И из самых глубин души, как отзвук той боли, которую я приняла на себя с рождения, вырвались слова:

— Да в каждом городе!

Да, в каждом, как в каждом городе горит вечный огонь неизвестному солдату, так пусть в каждом городе стоит памятник невинно убиенным, пусть так же стоит у него траурный караул и так же лежат цветы, пусть наши дети так же знают и помнят их имена, и пусть земля горит под ногами их убийц!

Мечь — бесплодное чувство. Но еще не умея читать, я повторяла сто раз слышанные от матери слова: ПЕПЕЛ КЛАА-СА СТУЧИТ В МОЕ СЕРДЦЕ!

Пусть не будет сердца, обойденного этим страшным знанием, которое, как смертельную болезнь, носили мы в себе все эти годы.

Когда я заходила от гнева, услышав эту известную всем фразочку: "При Сталине был порядок", я натыкалась на гнусную понимающую улыбочку — у вас, наверное, кто-то пострадал.

Да, пострадал. Отечество мое пострадало, и из тела его до сих пор сочится кровь от нанесенной ему в то лихолетье раны. И только правда, подлинная, не санкционированная поштучно, с болью вырванная правда сможет залечить ее.

А пока... Пока мы все еще мечемся в поисках доморощенных объяснений: кто пеняет на судьбу и рабский русский характер, кто на "административную систему", которая, очевидно, как плесень, появилась от сырости, кто, по старой привычке, ищет "врагов". Только сейчас не модно слово "вредители", теперь говорят "масоны", "сионисты", ну и как повелось — евреи. Господи, да все мы здесь одним миром мазаны, одной бедой спаяны, все мы тут "пострадавшие, а значит, обрусевшие"...

Вот тут затеяли требовать суда над виновниками разрушения храма Христа Спасителя, и других при этом попрекают, что они-де не хотят поименно.

Хотим. И не меньше их, и раньше их. Поименно. Но только всех. И еврея Кагановича, и грузина Сталина, и русского Ежова. И избави нас Бог, чтобы опять — выборочно.

Покаяние... Ввел Тенгиз Абуладзе это слово в нашу историю. Что ж, все верно в его фильме. Только вот не покаются они сами, уважаемый Тенгиз. Не покаются. Потому что есть логическая цепь, в которой пропущено одно звено — преступление — наказание — и только тогда — покаяние.

И только тогда, когда будут названы истинные виновники — с помощью специального расследования, при обнаружении всех архивных документов, с показаниями свидетелей — они еще есть, — только тогда, когда мы получим ЮРИДИЧЕСКОЕ и НАУЧНОЕ объяснение тому, что происходит в нашей стране, и не только в 1937-1938 годы, а начиная с 1917 и до на-

ших дней, когда мы узнаем, что же такое случилось с партией большевиков, что она допустила весь этот ужас, — тогда мы только поймем, что надо изменить, чтобы навсегда, на 20 поколений вперед исключить возможность повторения.

Только с чистой совестью, с чистыми руками, только прошедший через искупление, народ сможет сбросить с себя гнет греха и страха, и сможет воспитать следующее поколение свободным, не деформированным ложью и двусмысленностью, и дать своим детям право без стыда и горечи обращаться в прошлое, только тогда они смогут так же честно смотреть в будущее!

**АЛЕКСАНДР
ОРЛОВ**

ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ СТАЛИНСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ



**ЗАКАЗЫВАЙТЕ
ЭТОТ ПЕЧАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ВО ВСЕХ РУССКИХ КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ**

1937

Тридцать седьмой год... Пятьдесят лет тому назад... Кто его сейчас помнит? Вы возразите, скажете — все. Ну, конечно: большой террор, архипелаг ГУЛАГ, крутой маршрут, тайная история сталинских преступлений, реквием... Миллионы погибших. Камеры, следователи, пытки, этапы. Кажется — про все прочли, про все помним, ищем виновных.

Ну, а все-таки? Как он проходил, этот 37-ой, и какова была жизнь на воле, по эту сторону колючей проволоки? Наши будни...

Мы обратились к самому надежному, самому объективному свидетелю — советской прессе, и предлагаем небольшую подборку журнально-газетных материалов о тридцать седьмом годе.

В основном это "Литературная газета", отразившая жизнь цвета страны — писателей. Кое-что взято из других газет, журналов и сборников.

Мы не задавались целью собрать полный свод материалов, да это и невозможно. Почти все статьи даются здесь в небольших отрывках или в цитатах, а иногда просто в заголовках. Потому что наша задача — не исторический очерк, а попытка, пусть в ничтожно малой мере — приподнять завесу времени и представить общественную атмосферу этого рокового, этого чумного года.

Мы хотим, чтобы вы услышали голос 37-го года, почувствовали его стиль — стиль воинствующей истерики. И осознали этот язык — язык убийц.



О методах и приемах иностранных
разведывательных органов
и их троцкистско-бухаринской
агентуры

Сборник

РЕЧЬ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНТЕЛЯ —
ПРОКУРОРА СОЮЗА ССР

А. Я. ВЫШИНСКОГО
НА ПРОЦЕССЕ
АНТИСОВЕТСКОГО
ТРОЦКИСТСКОГО ЦЕНТРА

В помощь пропагандистам и агитаторам

О КОВАРНЫХ
МЕТОДАХ И ПРИЕМАХ
ИНОСТРАННОЙ
РАЗВЕДКИ

СБОРНИК СТАТЕЙ

1937

ПРАВЫЕ РЕСТАВРАТОРЫ
КАПИТАЛИЗМА

СБОРНИК СТАТЕЙ

ПРОЦЕСС
АНТИСОВЕТСКОГО
ТРОЦКИСТСКОГО
ЦЕНТРА

Теперь, я думаю, ясно для всех,
что нынешние вредители и дивер-
санты, каких бы флагом они ни
маскировались, троцкистским или
бухаринским, давно уже перестали
быть политически течением в ра-
бочем движении, что они превра-
тились в беспрофессиональных вред-
ную банду профсантов, шпионов, убийц,
Понятно, что этих господ при-
дется громить и корчевать беспос-
щадно, как врагов рабочего класса,
как изменников нашей родины.

СТАЛИН.

„Принять необходимые меры
для того, чтобы наши товарищи,
партийные и беспартийные боль-
шевики, имели возможность зна-
комиться с целями и задачами,
с практикой и техникой вредитель-
ско-диверсионной и шпионской
работы иностранных разведыва-
тельных органов“.

(И. СТАЛИН, О недостатках
партийной работы и мерах лик-
видации троцкистских и иных дву-
рушников (доклад на пленуме ЦК
ВКП(б) 3 марта 1937 г.).

телей и убийц, — таков единодушный
писателей, всего советского народа

№ 5 (841)

ая газета

ВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

- 2 стр. ПРОЦЕСС АНТИСОВЕТСКОГО ТРОЦКИСТСКОГО ЦЕНТРА — ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
- 3 стр. АЛ. ТОЛСТОЙ — Сорванный план мировой войны.
Н. ТИХОНОВ — Ослепленные злобой.
К. ФЕДИН — Агенты международной контрреволюции.
Ю. ОЛЕША — Фашисты перед судом народа.
В. ГУСЕВ — Голос страны.
Д. АЛТАУЗЕН — Пошады нет.
- 4 стр. А. НОВИКОВ-ПРИБОЙ — Презрение наемникам фашизма.
ВС. ВИШНЕВСКИЙ — К стенке!
И. БАБЕЛЬ — Ложь, предательство, смердяковщина.
Л. ЛЕОНОВ — Террарий.
М. ШАГИНЯН — Чудовищные ублюдки.
С. СЕРТЕЕВ-ЦЕНСКИЙ — Эти люди не имеют права на жизнь.
Г. ШТОРМ — Они готовили кабалу для народа.
М. КОЗАКОВ — Шакалы.
В. ИЛЬЕНКОВ — Под маской «литераторов».
- 5 стр. Г. ЛАХУТИ — Родине.
М. ИЛЬИН, С. МАРШАК — Путь в Гестапо.
В. ЛУГОВСКОЙ — Горе фашистам и их приказчикам.
А. КАРАВАЕВА — Изменники родины, шпионы, диверсанты и лакеи фашизма.
Л. СЛАВИН — Выродки.
Н. ОГНЕВ — Кровавая свора.
А. ПЛАТОНОВ — Преодоление злодейства.
Г. ФИШ — Ответить так, как советовал «Друг народа».
А. БЕЗЫМЕНСКИЙ — Наш вердикт.
В. ШКЛОВСКИЙ — Эпиллог.
- 6 стр. К. ФИНН — Есть ли большее предательство?
Б. ЛАВРЕНЕВ — Их судит вся страна.
А. МАЛЫШКИН — Из дневника СКИТАЛЕЦ — Торговцы кровью.
Д. МИРСКИЙ — Чужеродный сор.
Е. ДОЛМАТОВСКИЙ — Мастера смерти.
Р. ФРАЕРМАН — Мы вытащим их из шелей на свет.
Б. РОМАШОВ — Изменникам — суровый приговор.

печатать и в шрифты на стили состоят
местом и выделены рядом. Это
для читателей требующие расстроить
материально-технической помощи
№ 1.

ые матер

ушкине

Министерство Г. С. С. С. С.
Секретариат ЦК КПСР

23 января начался суд над анти

Гнусные преступники признали себя ви
безграничен инев советского народа, единодушно требу

Если враг не сдастся — его уничтожают

Резолюция Президиума Союза Советских
Писателей от 25 января 1937 года

Члены Союза советских писателей заслушали в обстановке общности
дело троцкистского «параллельного центра».

A. TO

Сорван мирово

Никакой пощады троцкистским вы

Вс. ВП

А. НОВИКОВ-ПРИБОЙ

Презрение наемни ам фашизма

Начался судебный процесс о
"параллельном центре" троцкист-
ов. При чтении судебного отчета
о нем получается впечатление,
что вдыхаешь в себя смрад раз-
ложившегося трупа. Выясняет-
ся вся отвратительная мерзость
их душ.

✓ К с

Вот они: хиловатые, лысые, в
очках — адъютанты Троцкого,
главари «параллельного цент-
ра». Вот он — Радек, по очере-
даши с девятисотых годов, поки-
давший и предававший рабочую
Польшу, Германию, бродивший
по Средней Европе, безрод-
ный и вредный, и пойманный
наконец в СССР.

Результаты нам памяты. И
эта трусливая, конспиративно
или тоньше, чем Яго, работав-
шая тварь тут же лила слезы
над могилой Либкнехта и Люк-
сенбург. Он вылез на свет, ко-
гда кончился бой и солдатчина
Носке топтала свежие следы и
бросала окурки в лужи крови,
вытекшей из коммунистов.

ОБЩЕСТВЕННЫМИ ТРОЦКИСТСКИМ ЦЕНТРОМ
НЫМИ В ПРЕД'ЯВЛЕННЫХ ИМ ОБВИНЕНИЯХ
ЩЕЮ СТЕРЕТЬ С ЛИЦА ЗЕМЛИ КРОВАВЫХ ЛАКЕЕВ ФАШИЗМА

ТОП

К. ФЕДИН

ИЙ ПЛАН ВОЙНЫ

Агенты международной КОНТ В

ДКАМ, КРОВАВЫМ СОБАКАМ ФАШИЗМ

НЕВСКИЙ

Л. ЛЕОНОВ

ЕНКЕ!

Террарий

Он пустил в ход двадцатилетний политиканский опыт, хитрость, клятвопреступление... Он выступал, давал присягу верности, сатирически изображал сам себя. Он выступал со своими статьями, памфлетами и портретами, пряча свою подпольную деятельность. Временами в нем прорывалась бешеная злоба — и он срывался — по второстепенным спорам, иногда литературным, в визге и скрежете.

Радек втирался к писателям. У нас есть разновидность литературных «гуманистов», которые определяют людей по «интервю беседам», болтовне в гостях, кулуарах и пр. Радек встречал их, выведывал, иных опутывал на ходу, — насмешливо и молчаливо прикидывая: когда и где он уничтожит этих людей. Это были здоровые, честные советские люди...

Что-то ползает, бесхвостое и вызывающее содроганье, ватоме этого гадкого пространства. Вот, одно из этих существ поворачивается лицом. Холодные, жестокие глаза с завистью смотрят из-за судебного барьера. Герою нашего времени, да и великому рядовому каменщику социализма, они чем-то уже знакомы.

СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ

Г. ШТОРМ

Эти люди
не имеют

Они готов
кабалу

Л. СЛАВИН

Выродки

Ни в кровавой истории политических заговоров, ни в отвратительных летописях шпионских хитросплетений, ни даже в мрачных и грязных уголовных хрониках мы не найдем такого ужасного скопления подлости, лжи, изверства и полной потери человеческого облика, как в компании семнадцати троцкистско-фашистских убийц, представивших сейчас перед судом народа.

Кровавый пошляк Радек, взлетевшийся тушица Серебряков, ослепший мащина Соколинков, циничный предатель Пятаков! А был всеми нами — полнейшая карьерист Нудушка Троцкий!

И эти выродки хотели покорить самый свободный и могучий в мире народ!

В. Гусев

ГОЛОС СТРАНЫ

На Дальнем Востоке, в тайге суровой,
Боец-пограничник на землю упал.
Это его благородной кровью
Бандит Сокольников торговал.

Школьники Киевщины в тетрадах
Пишут стихи о своей стране
Это их счастливое детство Радек
Хотел спалить на фашистском огне.

Страна заводы свои растила.
Зажигала огни молодых городов.
Это их, нашу гордость и нашу силу
Взорвать и разрушить хотел Пятаков.

А. ПЛАТОНОВ

Преодоление Злодейства

Чтобы изменить рабочему классу, надо быть подлецом. Поэтому для всякого изменника существует роковая, необратимая судьба. Перефразируя известную мысль, можно сказать — социализм и злодейство — две вещи несовместимые...

Самым жестоким видом злодейства сейчас является троцкизм.

Этот фильтрующийся вирус фашизма пытается проникнуть до самого сердца советского народа, чтобы одним ударом умертвить его нацело.

но, это не удастся никогда и Фашизм неспособен понять, имеет против себя. Фашизм лишь производит все более и, все более «усовершенствованных», т. е. таких людей, еще никогда не существовавших и которые существовать

в «душе» Радека, Пятакова и других преступников есть как органическое, теплотворное — разве они могут называться хотя бы элементарными?

уже нечто неорганическое, смертельно-ядовитое, как трупный яд из чудовища. Как они выносят самих себя? Одно, правда, не вынес, — Томский. Уничтожение этих особых злодеев является естественным, жизненным делом.

Жизнь рабочего человека в Советском Союзе священна, и кто ее умерщвляет, тому больше

22/21-34

МИХАИЛ

Убийцы из „Лени

Сергей Миронович Киров был застрелен. | Конечною ожидани
Застрелен в затылок, из револьвера, врагом, подкравшимся на

Сергей Миронович Киров был застрелен. Застрелен в затылок, из револьвера, врагом, подкравшимся на цыпочках, сзади.

Для того, чтобы это чудовищное преступление могло совершиться, нужны были слагающие его элементы. Пуля должна была вылететь из чьего-то револьвера. Чья-то не дрогнувшая подлая рука должна была целить этот револьвер. Чьи-то глаза должны были целиться в спину нашего товарища. Чей-то мозг, накаленный безудержной ненавистью, должен был управлять рукой, глазами и всеми движениями во время этого убийства, хладнокровного, безжалостного, совершенного в буквальном смысле из-за угла.

Чья же эта рука стреляла в затылок лучшему из лучших наших товарищей, одному из любимейших вождей нашей партии, человеку, чья честность, благородство, чье мужество, чей талант, чья чистота, чья широчайшая популярность в рабочей массе были признаны не только всей страной, не только большевиками и всеми трудящимися, но и откровенными людьми среди наших противников? Ведь не только советская, но и буржуазная печать, сообщая об убийстве товарища Кирова, писала, что в нем погиб "один из наиболее симпатичных и популярных в народе рабочих вождей"...

Кем должны были быть убийцы, кем приходится они рабочему классу, если направляют револьвер на любимца рабочих, на их друга и вождя?

Капиталистический мир пробовал через свои газетные рупоры раскричать убийство Кирова, как проявление бурных оппозиционных и даже повстанческих сил, вот-вот уже взрывающихся самые устои советского строя. Фантазии врагов, истомленной в бесконечном ожидании, уже мерещилась канонада антисоветских батарей на улицах Ленинграда и Москвы. Выросшие из

КОЛЬЦОВ.

"Правда"

Инградского центра

под земли легионы уже штурмовали Кремль, атаковали Смольный и широко раскрывали ворота для торжественного в'езда белой эмиграции.

А выстрел убийцы?

Мы имеем первые результаты следствия. Сорван покров тайны, за которым хотели укрыться убийцы, их пособники, покровители. Их лица открыты. И кто же они?

Маленькая кучка озлобленных деклассированных врагов, отбившихся от труда, от учебы, просто от живой жизни, одуревших от ненависти ко всему большевистскому, советскому, пролетарскому. Одинокая кучка полулюдей-полузверей, опьяневшая от жажды власти и крови, мечтающая отомстить рабочему классу, партии за обиды, нанесенные убогим карьерам, копеечным самолюбиям, грошевым вонючим личным чувствам.

И кто же был вдохновителем убийцы? Кого они считали своими вожаками, идейными воспитателями, духовными отцами? Кому они хотели проложить дорогу через трупы большевиков?..

Ни одна из этих пуль, ни одно из этих убийств не остановило хода революции.

Сейчас отчаявшейся, озверевшие подлещи опять пустили в ход оружие. Все с той же целью. И все так же бесцельно.

В кровавый порошок будут стерты все, возымевшие безумную мысль пойти против истории, остановить ее движение, преградить путь побеждающему социализму.

Кровавая свора

Они павозово копошились вне поля зрения, в каком-то отхожем углу политической арены, а когда выплыли наружу, то начинали ужасные клоунадские лягушечьи:

«Грим, грим, прежде всего, — шептали они друг другу. — Какой уголок грим, лишь бы замазать правду...»

Они казались одним за другим и, бтя себя в грудь, выли о каких-то страшных «ошибках»...

«Мне застыдно стыдно!... — визжал Патаков. — Я ошибался, ошибался тяжело!...»

В. ЛУГОВСКОЙ

Кровавые собаки реставрации — ползали на брюхе вслед за своим палачом — Троцким — торговцем человеческой кровью и честью. Во имя этого родины, влюбным выродком, ростовщиком фашизма.

Товарищи! Эти люди торговали нами, вашими семьями, землей, кровью, а мы стоим.

Но что негодяям эта кровь, эта капля в море крови, которую она обрызгала и собиравали? Они, зальте ли, все «считывали». Все учили, все рассчитали, все взвесили на своих весах, все запродали, подложили — и родины, и кровь ее сынов. Маски о убийц, наемных поджигателей войны, с изменников родины сорваны.

К. ТРЕНЕВ

Но дело не ограничивалось клоунадой. Вышла и торговля. И вот тот товар, который они в компании с гнусным, прачушником от народного всемердия атаманом всей шайки Троицким, угодливо и раболепно предложили немецким и японским фашистам, своим приятелям:

— Кровь народов Советового Союза.

Под эту драгоценную кровь они уже получили денежные суммы, они считали сделку завершённой, они уже готовы подсытывать прибыль. Они

И раскатылось бы когтем.
— Стоя кровавого Ирку!

Пусть скажет нам, стоя в когте.

Как знамя Ленина тощад,

Как злобой пастью холода

Над нашей верой в нашу силу...

Нет, ты его наститнешь, кара!

Сто семьдесят миллионов руб

Над ним в одну сойдутся адут

Для беспощадного удара.

И в темноте его отыщем

И скажем, вытаскив на свет:

— Собаку смерти — на злобушке!

Ей радом с жизнью места нет!

Мих. ГОЛОДНЫЙ

Торговцы кровью

Не стоит много говорить о том, что это — падшие, морально растленные люди, у которых политикамство давно вытравлило стыд, совесть, честь, что эти циники

Неужели, легко обещая жирные куски нашей великой страны чавкающим вылаем европейского и азиатского интала, могли они ждать, что и даст прива прежде всего своим «благотетелям», а потом идет в себе силы для громогласного пара по их фашистским хозяе-

КНИГИ

ИСКУССТВУ, ГЕОГРАФИИ,

ХУД.

...могла думать только о злоблен-
ной кучка политикаков, людей с
груслявой, рабской натурой, с под-
лой способностью лицемерить, дву-
рушничать и безжалостно, бесстыдно



Честные советские работники смотрят на них сейчас и не понимают, откуда взялись эти кровавые шуты, плясавшие под черные заглавья бегавшего по миру их осатаневшего, разоблаченного вождя Троцкого, мечущегося в понохах хозяев, ка-ким бы он мог продать подороже свои испытанную банду, замосневшую в преступлениях, от которых убежал бы в испуге каторжника.

У них были короткие лозунги:
убивай!
истребляй!
дги!
подличай!
продавайся!
притворяйся!

Н. ТИХОНОВ

В этих же магазинах производится ПРО-
мышленных книг, старинных гравюр, ру-
Для осмотра больших партий книг и ц-
зинны посылают на дом опытных товаровед-

Ненависть и презрение и социалистической культуры

П. ВИНОКУРОВ

О некоторых методах вражеской работы в печати

Среди значительной части партийных руководителей и работников большевистской печати до последнего времени был распространен один грубо ошибочный тезис. Они полагали, что враги народа—троцкистско-бухаринские шпионы, вредители и диверсанты, агенты фашизма устремляются в различные предприятия и организации, но минуя печать. Вредительство в печати, рассуждали наивные люди,—дело почти немислимое: в газете, журнале, книге ни одна враждебная вылазка не может остаться незамеченной, и проникший в печать враг неизбежно немедленно разоблачается. Такую версию в частности усиленно поддерживали работники транспортной печати во главе с центральной газетой «Гудок». Они открыто утверждали, что враг проникает лишь в хозяйственный организм транспорта, чтобы подрывать его мощь, а отнюдь не в транспортную печать. Там, мол, врагу делать нечего, и печать как объект шпионско-вредительской деятельности не представляет для него интереса.

Факты опровергают эту вреднейшую, гнилую теорию. Факты говорят о том, что враги народа—шпионы, вредители, троцкистско-зиновьевское и рыковско-бухаринское отребье, используя притупление бдительности работников печати и отрыв партийных комитетов от газет, журналов, издательств, проникали в печать и творили там свое гнусное дело.

За последнее время разоблачены враги народа, пробравшиеся не только в среду рядовых литературных работников газет, журналов и издательств, но и к руководству отдельными газетами и издательствами.

Эти люди пытались (иногда небезуспешно) использовать печать в своих контрреволюционных целях. Помимо врагов народа Бухарина и Радека, вредивших в «Известиях», можно отметить группу враждебных людей, изгнанных из украинской газеты «Коммунист» (покрывавшей врагов народа), бывшего редактора «Таганрогской правды», бывших редакторов краснодарской газеты «Красное знамя», «Уральского рабочего», группу скрытых врагов народа, проникших в аппарат ТАСС, Союзфото и в отдельные центральные газеты. Мы уже не говорим о том, что десятки районных и городских газет были сильно засорены чуждыми людьми.

Методы и формы вредительства в печати самые разнообразные:

зменникам родины, врагам ы, врагам советскою народа!

от выпуска книг и учебников, представляющих собой по сути дела пособие... для шпионов, до невинных, на первый взгляд, опечаток. В одних случаях здесь действует злая воля автора, в других—его головотяпство и политическая близорукость, в третьих—враги, пробравшиеся в редакцию или издательство. Обратимся к фактам.

Перед нами «Сборник упражнений по стилистике» проф. Бархина. Этот учебник, изданный Учпедгизом в 1936 г., содержит такие «упражнения»:

«26. Написать сочинение (описание) в деловом (подчеркнуто всюду нами.—П. В.) тоне: «Завод, на котором работает мой отец (брат, мать...)», ответив на вопросы:

Где находится? Величина (в сравнении, например, с другим заводом, лежащим в том же районе)? Кем был основан и когда? Какие пути ведут к заводу (есть ли железнодорожная ветка, проходит ли поблизости от завода трамвай)? Какой силы машины и какие двигатели (паровой, газовый, электрический и т. д.)? Каким пользуется топливом? Какое сырье перерабатывает? Что завод производит? Куда идет продукт (в город, в деревню)? Сколько рабочих на заводе? К какому профессиональному союзу принадлежат рабочие? В каком цехе работает отец? Какие еще есть цехи? Когда начинается работа? Как велик рабочий день? Есть ли при заводе столовая, амбулатория, клуб?»

Это, с позволения сказать, «упражнение» предоставляет любому шпиону, разведчику, троцкисту или иному двурушнику, пробравшемуся в школу, широкие возможности для собирания «полезных сведений» в пользу иностранной буржуазной разведки. Такое «пособие» может явиться орудием в руках любого диверсанта.

Другой аналогичный факт.

Издательство иностранных рабочих в 1937 г. выпустило «Учебник японского языка». Составили учебник П. Гушо и Г. Горбштейн. На титульном листе учебника значится: «Одобрено в качестве учебного пособия кафедрой японского языка Института востоковедения им. Н. Н. Нарманова».

Во II части этого учебника 21—22-й уроки называются «Японская армия». В этом уроке, построенном на диалоге двух японцев Симата и Танака, речь идет и о японской и о Красной Армии вперемежку, причем так, что не всегда отличишь, какой вопрос относится к японской, а какой к Красной Армии.

«Симата. Я слышал, что механизированные части Красной Армии первые в мире?

Танака. Это правда. Не только механизированные части, но и воздушный флот и кавалерия первые в мире.

Звериное лицо

Изменники
шпионы,
и лакеи

Карающий меч

свора

Никогда еще в истории России не было так объединены все силы народа.

Лето не ограничивалось.

Симада. Разве, по словам недавнего докладчика, Красная Армия не устраивает на советско-манчжурской границе крепостей, траншей и проволочных заграждений?

Танака. Так как японские империалисты очень часто нападают на границы Советского Союза, то укрепление его границ—обыкновенная вещь. Усиление Красной Армии вовсе не означает агрессии. Она существует для мира, для обороны государства и для защиты диктатуры пролетариата. В противоположность этому усиление японским правительством армии и флота производится только потому, что оно намерено напасть на другие государства.

Симада. Теперь расскажи о воздушном флоте.

Танака (рассказывает не о японском воздушном флоте, а вообще о воздушном флоте.—П. В.).

Симада. Между прочим, разве авиационная техника в СССР не делает очень больших успехов?

Танака. Это правда. Как я сказал раньше, воздушный флот советской Красной Армии самый сильный в мире.

Симада. Хотелось бы поехать в Москву!..

Танака. Нам обязательно необходимо знать организацию армии. Как-нибудь расскажу также и о флоте.

Итак, любознательный Симада, пользуясь любезностью и болтливостью своего собеседника Танака, может получить секретные сведения о Красной Армии, причем без особого труда и риска.

Исчадия лжи

Ю. ЯНОВСКИЙ

Не пощадим

рашев перечень преступленя
советского народа. Какя эвз-
являеть в строениях новоя

И
ЗЛОБЫ

Убийцы

В самом деле, шпион, маскирующийся преподавателем, заручившись таким учебником, использует эту легальную возможность для шпионажа и уже наверняка попытается расширить диалог до крайних пределов, дополняя его «невзначай», «между прочим» специальными вопросами. Разумеется, вопросы будут задаваться каждому ученику по-разному, с учетом степени болтливости собеседника. Но во всех случаях враг будет пускать в ход все свои коварные ухищрения и провокационные приемы. Скажем, преподаватель—разведчик, шпион, поясняя какой-нибудь военный термин, к примеру блиндаж, рисует его на доске, причем рисует заведомо неправильно. Таким путем он умышленно вызывает дискуссию, провоцирует учеников, хорошо знающих военное дело, на возражения. Учащиеся начинают в порядке возражения доказывать и наглядно показывать, что, мол, у нас там-то блиндажи строят таким образом, а совсем не так, как показывает преподаватель.

Не ясно ли, что описанный выше урок облегчает как нельзя лучше работу японского разведчика и почти полностью гарантирует ему маскировку, так как он целиком использует легальные возможности для развернутой и оживленной беседы, даже с полемическим оттенком, о тактике, стратегии и вооружениях отнюдь не японской, а Красной Армии.

Приведенные факты достаточно наглядно убеждают нас в том, что печать, как и пропаганда в целом (см. книгу Р. Роуана «Разведка

Выводы из полученных нами уроков легковерия, беспечности, которые я врагов. Мы должны вскрыть лука

и контрразведка»), может служить и в ряде случаев при нашем полуполитстве служит средством, орудием шпионажа.

Появление в частности обоих учебников в таком виде могло иметь место только потому, что и в Учпедгизе и в издательстве иностранных рабочих, издававших их, сидели ныне разоблаченные враги народа.

Другой разновидностью крупного вредительства в печати является изложение в книгах, журналах, газетах—в прямой или скрытой форме—контрреволюционных, фашистских высказываний.

Наиболее ярким примером такого рода вредительства в завуалированной, скрытой форме может служить изданная Гослитиздатом в 1937 г. книга «Третья империя в лицах». Книга эта внешне, на первый взгляд, не вызывает никаких подозрений. Написанная в стиле памфлета, она хорошо иллюстрирована антифашистскими карикатурами. И вот под этой внешней оболочкой антифашизма читателю на протяжении многих страниц преподносится откровенная проповедь фашистского мракобесия. Часть вторая книги «Гитлер и его друзья» начинается большим «критико-биографическим очерком о Гитлере», занимающим около 60 страниц (стр. 89—148). Вначале автор «для приличия» приводит несколько общеизвестных фактов, характеризующих Гитлера как мелочного человека, карьериста, наемника финансовых магнатов и т. д. И создается впечатление, что автор твердо стоит на антифашистских позициях и является убежденным противником вождя германского фашизма.

Это первое впечатление, однако, тотчас же рассеивается, как только мы знакомимся со второй частью этой главы и убеждаемся, что первая часть, как и книга в целом, используется автором как маскировка для умышленного протаскивания им в нашу печать фашистских взглядов и целых речей. В самом деле, автор во второй части этой книги «цитирует» (знаем мы цену этим цитатам!), а фактически воспроизводит стенографическую запись одного из последних выступлений Гитлера. Эта «цитата» занимает более четырех страниц книги *большого* формата. В другом месте этой же главы «цитируется» на двух с половиной страницах книга Гитлера «Моя борьба» и другие произведения фашистских «проповедников».

Приведем еще один весьма характерный факт наглой фашистской вылазки врага.

Издательство «Молодая гвардия» выпустило в свое время несколько номеров бюллетеня «Комсомольский пропагандист» с очерками экономического и политического положения фашистских стран-агрессоров—Германии, Японии, Италии, Польши. Считая, видимо, эти очерки весьма удачными, издательство решило их распространить в виде специальной брошюры «Очаги военной опасности» массовым тиражом в 25 тысяч экземпляров. Замысел редакции по счастливой случайности не был осуществлен.

ов, мы должны объявить борьбу ются щелями для прошикновения ые и извилистые пути, пользуясь

Очерки эти написаны так, что под многими их тезисами охотно подпишется сам Гитлер, и они могли бы украсить страницы прогитлеровской печати.

Обратимся к фактам.

Германские фашисты, эти зачинщики и провокаторы новой мировой бойни, вдохновители и организаторы гнуснейшей интервенции в Испании, обосновывают свои разбойничьи, захватнические планы, свою агрессивную внешнюю политику разговорами о «перенаселении» Германии, об отсутствии своего промышленного и продовольственного сырья для развития германской экономики. Казалось бы, издатели из «Молодой гвардии» должны были с цифрами и фактами в руках разоблачить фашистскую демагогию и показать истинные причины «нехватки» земли и сырья.

Надо было растолковать и показать молодому читателю и пропагандисту, что нехватка земли, безземелье и малоземелье германских крестьян, как и острый продовольственный кризис в стране, созданы фашистскими правителями, обусловлены фашистским строем. Надо было разъяснить, что лучшие земли в Германии захвачены помещиками-юнкерами, «гроссбауэрами» (кулаками), а также фашистскими милитаристами для военных автострад, аэродромов и пр. Надс было показать, что сырьевой баланс Германии перенапряжен из-за бешеной милитаризации всей страны; что народ обречен на полуголодное существование, и это усугубляется сверхэксплуатацией трудящихся и грабительской политикой сельскохозяйственных цен; надо было, наконец, рассказать о провале фашистской «четырёхлетки» и его причинах, о пагубной сущности автаркии, о вытеснении импорта продовольствия и технического сырья, необходимого для мирных целей, импортом военно-технического сырья и т. д.

Так и только так должны были поступить редакторы и издатели советского издательства. Вместо этого в очерке о политико-экономическом положении фашистской Германии молодежи преподносятся «факты и цифры» о «перенаселенности» Германии, о недостатке сырья и т. д. Например:

«На экономику Германии накладывает большой отпечаток отсутствие или крайняя скудость важнейших видов сырья. Для удовлетворения нормальных нужд промышленности (?) необходимо возить около 70% железной руды, потребляемой германскими предприятиями, 85—90% нефти, 70—75% свинца, 85—90% шерсти, 80—85% фосфатов; кроме этого Германия совершенно не имеет собственного никеля, вольфрама, олова, ртути, алюминиевых бокситов, хлопка.

Для удовлетворения *нормальной потребности* (?) населения продовольствием, в частности сельскохозяйственными продуктами, Германии

Поэма о наркOME Ежове

ДЖАМБУЛ

народный поэт Казахстана

Цветут наши степи, сады и поля,
В пурпурный халат нарядилась земля.
Как Ленин, наш солнечный вождь гениален,
Любимый, родной, нестареющий Сталин.

В живом организме Советской страны
Ежову вождем полномочья даны —
Следить, чтобы сердце — всей жизни начало —
Спокойно и без перебоев стучало.

необходимо ввозить не меньше $\frac{1}{4}$ этих продуктов, жиров, мяса и т. д.»

Не ясно ли, что так выставлять напоказ эти цифры без необходимых комментариев, без вскрытия подлинных причин зависимости и кризисного состояния капиталистического, военно-фашистского хозяйства Германии — значит играть на руку германским фашистам, заливающим кровью землю испанского народа и лихорадочно подготавливающим новые грабительские войны под предлогом «перераспределения сырьевых рынков, колоний» и «расширения территории Германии на восток» «на благо германского народа».

Вместо того чтобы заострить внимание нашей молодежи на провале фашистской «четырёхлетки» и связанных с нею демагогических обещаний германскому народу и показать ее военно-грабительский характер, «просветители» из «Молодой гвардии» преподносят молодежи такие «справки» об «экономической мощи» Германии:

а) «Германия — страна с высоко развитой промышленностью...» «в 1935 г. она дала 10,1% мировой промышленной продукции, занимая в этом отношении 3-е место в мире»;

б) «угольные запасы Германии в 15 раз больше Франции и в 1,5 раза больше Англии»;

в) «для гидрогенизации угля в Германии построено 9 новых мощных заводов, давших в 1936 г. свыше 1 млн. т горючего (на одних только предприятиях химического концерна «И. Г. Фарбен-индустрии» в 1936 г. было произведено 350 тыс. т)».

Следить, чтобы кровь, согревать не устав,
По жилам текла горяча и чиста.
Следить, чтобы не было ран и царапин,
Чтоб острые когти на вражеской лапе

Коснуться в ночной тишине не могли
Любимой, родной и священной земли...
А враг настрожен, озлобен и лют.
Прислушайся: ночью злодеи ползут,

Ползут по оврагам, несут, язуверы,
Наганы и бомбы, бациллы холеры...
Но ты их встречаешь, силен и суров,
Испытанный в пламени битвы Ежов.

В главе «Партии и фашистские организации» героическая германская компартия показана лишь как разгромленная и запрещенная организация. Точно так же и социал-демократическая партия. А в итоге получается так, словно правы фашисты со своими утверждениями о «ликвидации классовой борьбы», о замене ее «классовым сотрудничеством», трогательным альянсом эксплуататоров и эксплуатируемых.

Глава «Армия и флот» (Германии.—П. В.) также составлена в духе сочувствия фашизму.

Наконец, сей литературный труд поражает подробнейшим некритическим изложением расовой «теории» фашистского мракобесия.

Мы нарочито так подробно останавливаемся на этих фашистских вылазках, чтобы охарактеризовать ту обстановку политической беспечности и близорукости, в которой враги народа, проникая на такой острейший идеологический участок, как печать, творят—и зачастую безнаказанно—свое гнусное дело.

Вражеские вылазки имеют место не только в книгах на социально-экономические темы, но и в научно-технической и массовой, популярной технической литературе. Например, в Ленинграде был издан «Спутник сплавщика», в котором открыто проповедывались антимеханизаторские тенденции. Автор «Спутника» с поразительной наглостью в ряде мест клеветает, что «с внедрением в производство новых механизмов и агрегатов увеличивается опасность для жизни и здоровья рабочих».

Нет нужды воспроизводить все подобного рода гнусности—важно

Враги нашей жизни, враги миллионов,
Ползли к нам троцкистские банды шпионов,
Мечтали ночами: заводы — на снос!
Посевы — огню! Поезда — под откос!

Они ликовали, неся нам оковы,
Но звери попались в капканы Ежова.
Великого Сталина преданный друг,
Ежов разорвал их предательский круг.

Раскрыта змеиная вражья порода
Глазами Ежова — глазами народа.
Всех змей ядовитых Ежов подстерег
И выкурил гадов из нор и берлог.

лишь вскрыть методы и формы протаскивания вредительских теорий в печать при попустительстве отдельных издателей и редакторов или при их прямой помощи.

В ряде случаев и наши газеты и журналы обильно цитируют вражеские, махрово-контрреволюционные высказывания

В одних случаях, если во главе газеты, журнала оказался враг или политически близорукий человек, не видящий орудующих у него под боком врагов, это делается умышленно, и тогда цитата используется как маскировка; в других случаях это делается в результате головотяпства. Чаще бывает первое.

Особенно усердно подвизалась на этом поприще краснодарская газета «Красное знамя». Помнится, что в дни процесса объединенного троцкистско-зиновьевского центра в ней появилась корреспонденция, автор которой щедро цитировал выступление одного человека в пользу... расстрелянных участников этого процесса. Газета часто прибегала к такого рода контрреволюционной проповеди, часто допускала антисоветские опечатки. И, как потом оказалось, все это происходило не случайно: в газету пробрались враги народа.

Помнится, как широко в отдельных газетах использовалась такого рода легальная трибуна в дни, предшествовавшие всесоюзной переписи населения. В ряде районных газет Свердловской области «цитировались» провокационные слухи и разговоры в деревнях о том, что-де всех верующих «клеят будучи» или «хлеб отбирать у них будут» и т. д.

Там, где к руководству газетой пробрались враги, где отсутствует

Разгровлена вся скорпионья порода
Руками Ежова — руками народа.
И Ленина орден, горящий огнем,
Был дан тебе, сталинский верный нарком.

Седой летописец, свидетель эпохи,
Вбирающий все ликования и вздохи,
Сто лет доживающий, древний Джембул
Услышал в степи нарастающий гул.

Мильоноголосое звонкое слово
Летит от народов к батыру Ежову:
Спасибо, Ежов, что, тревогу будя,
Стоишь ты на-страже страны и вождя!

большевистская бдительность, враг широко использует такого рода «штаты» в своих контрреволюционных целях.

Опечатки и поправки к ним всегда были бичом редакций газет и журналов и книгоиздательств.

Особенно широкое распространение опечатки получили за последние два-три года. Причем опечатки эти в значительной своей части отличались от прежних, обычных опечаток тем, что они искажали смысл фразы в антисоветском духе.

Опечатки в большинстве своем берут начало в типографии. В одних случаях они уходят своими корнями в корректорскую, в других—в линотипную, в третьих—нити опечаток ведут к правщику, в четвертых—в ротационный цех. Чаще всего техника опечаток такова: заменяются одна-две буквы в одном слове или выбрасывается одна буква, и фраза в целом приобретает контрреволюционный смысл. Скажем, вместо слова «вскрыть» набирается «скрыть»; вместо «грозное предупреждение»—«грязное предупреждение»; вместо «брестский мир»—«братский мир» и т. д.

Часто «пропадает» отрицание «не» или «невинным» образом снимается или переставляется запятая, и все это делается с определенным умыслом—грубо извратить смысл.

Враг прибегает ко всем этим ухищрениям и маскировке там, где ослаблена бдительность. Имеется немало фактов замены в тексте газетного или книжного оригинала целых слов или появления новых, «нигде отсюда взявшихся» слов и фраз. Вместо слова «социализм» набирается, а иногда проникает в печать «капитализм»; «испанский народ»

Привет славным работникам НКВ охраняющим завоевания Велик

превращается в «фашистский народ»; «враги народа» — в «друзья народа»; «теоретический уровень» — в «террористический уровень» и т. д.

Природа всех этих, с позволения сказать, «опечаток» совершенно ясна и в комментариях не нуждается.

Нередко враг широко использует притупление или отсутствие бдительности редакционных работников и руководства типографии в другой области — *верстке и клише*.

Вредительство в этой области (и нередко не без участия враждебных людей из редакции) весьма разнообразно.

В одних случаях оно проявляется в контрреволюционном сочетании фото и карикатур, аншлагов и фото или карикатур и аншлагов, «шапою», отдельных крупных заголовков. В других случаях до неузнаваемости искажаются в работе (в ретуши и в цинке) снимки, а беспечный редактор ограничивается только тем, что «подписывает к печати» фото-оригинал, и дальнейший процесс обработки снимка его ничуть не занимает. В этих случаях врагам раздолье. Со снимком, после того как он считается окончательно завизированным, можно делать какие угодно антисоветские эксперименты. И делают... Нам известны факты, когда вражья рука в обыкновенный снимок ловко и тонко врисовывала портреты врагов народа, которые становятся отчетливо видными, если газету и снимок рассматривать со всех сторон.

Расследование многих из этих фактов показало, что в ряде типографий безнаказанно орудовали группами или в одиночку враги народа: троцкисты, матерые меньшевики и эсеры в прошлом, бухаринские последыши и просто разведчики. В одних случаях в этом замешана корректура, в других — линотипная, в третьих — правщики, верстальщики и т. д. Засоренность отдельных типографий чуждыми людьми прямо поразительна. В калужской типографии, например, насчитывается 23 исключенных из партии, среди них имеются явно враждебные люди. И не мудрено, что районная газета, печатающаяся в этой типографии, нередко засорялась гнусными «опечатками». В газете «Коммунар» (Коммунистический район, Московской области) часто проскальзывали контрреволюционные опечатки. Впоследствии обнаружилось, что в типографии орудовала антисоветская группа во главе с виднейшим эсером.

Подмосковные типографии, конечно, не являются исключением из общей массы районных и городских типографий. Имеются факты засоренности кадров и некоторых московских типографий, причем редакторы газет, являющиеся хозяевами типографий, проявляют удивительную беспечность. Отмечены факты «утечки» шрифта и бумаги в некоторых местных типографиях. Это происходит там, где типография представляет собой «звезжий» или проходной двор.

Многие редакторы и работники газет иногда не видят за опечаткой

и их руководителю Н. И. Ежову, и социалистической революции!

вражескую руку и склонны эту опечатку объяснять неопытностью корректора или наборщика. Надо кончать с этой идиотской беспечностью и кончать немедленно.

Нередко окопавшиеся в типографии враги в своей вражеской работе переключаются со своими друзьями из... редакций. Первоисточником контрреволюционных вылазок в виде «опечаток», искажения цитат, фото и прямой вражеской пропаганды часто является редакция. Немало уже разоблачено враждебных людей, проникших в редакции при попустительстве местных партийных организаций и редакторов газет. Но разоблачены они еще далеко не всюду.

Факты показывают, что враг тем легче проникал в редакционный аппарат и безнаказанно орудовал в нем, чем в большей степени была ослаблена революционная бдительность редактора и редакционного коллектива коммунистов, чем сильнее был отрыв местной руководящей партийной организации (обкома, крайкома, ЦК нацкомпартии) от своей газеты.

Пробравшиеся в редакцию враги из разгромленных троцкистско-зиновьевского и рыковско-бухаринского лагерей не только плодили антисоветские опечатки и под видом «цитат» приводили всякие гнусности, используя газету как легальную антисоветскую трибуну. Их вражеская работа многообразна. Они отгораживали газету от читателей, глушили самокритику, вытесняли из газеты читательские письма, опорочивали на страницах газеты честных людей и, наоборот, восхваляли ваведомо им известных скрытых врагов народа (например «Уральский рабочий»). Они толкали газеты на разглашение государственных тайн оборонного и иного характера. Они умышленно обволакивали фимиазом коммунистов-ротозеев, близоруких работников партийного и хозяйственного аппаратов, чтобы легче было орудовать вражеским силам.

Немало врагов проникло в районные, транспортные, областные и некоторые центральные газеты.

Приведем несколько примеров засоренности отдельных газет на железнодорожном транспорте.

Газета «Путевка» (дорога им. Л. М. Кагановича). Редактор газеты Принумитул был личным другом врага народа Беленького и диверсанта М. (ближайшего подручного расстрелянного бандита Турока). Редактор допустил проникновение в редакцию под видом рабкора троцкистского террориста М., намеченного Туроком в качестве физического исполнителя одного террористического акта.

В газете «Амурский железнодорожник» (Амурская дорога) работал сотрудником некий К., который отбывал наказание за контрреволюционную, троцкистскую пропаганду.

Другой сотрудник М. тоже был осужден за троцкистскую пропаганду. В этой же газете нашли себе место и бывший офицер-кол-

Революционная бдительность особенно необходимо тепер

чаковец, и сын вредителя, осужденного по делу промпартии, и троцкистка Г., которая вредительски срывала своевременный выпуск газеты и вела контрреволюционную агитацию среди работников печатного цеха.

Разоблаченный троцкистский шпион—бывший начальник сектора печати политотдела Московско-донбасской железной дороги—насаждал в отделенческие газеты «своих» людей: подхалимов, льяниц, чужаков. В числе таких был послан в газету валуйского отделения «Новый путь» некий Д. в качестве заместителя редактора. Пользуясь политической близорукостью редактора, Д. проводил в газете вредительскую работу, сделал газету политически беззубой, скучной, беспринципной. Работы с рабкорами никакой не проводилось. Д. печатал в газете статьи троцкистов и протасил в газету контрреволюционную предельческую статью о невозможности ездить на тощих углях. Д. разглашал в печати номера партийных билетов отдельных коммунистов.

При попустительстве отдельных райкомов партии немало и районных газет оказалось, по сути дела, в руках враждебных людей.

Например, аткарская газета «Коммунист» (Саратовская область). Долгое время ее редактировал троцкист З. Он принял на работу в помощь себе некоего К., по его словам, «незаменимого» работника. Он не ошибся в своих расчетах, ибо К., действительно, оказался весьма подходящим, прямо-таки незаменимым для... враждебной работы в газете. Кто такой К.? Отец его за антисоветскую работу был осужден. Жена К., работая в сберкассе, растратила 25 тыс. руб. Сам К. долгие годы работал с матерями троцкистами.

И вот вкупе с этим «незаменимым» работником троцкист З. творил свое гнусное дело в аткарской газете. Сознательно допускались контрреволюционные опечатки. Скрывались от читателей важнейшие партийные решения. Злостно искажались селькоровские письма, а сигналы селькоров о вражеской работе на местах вообще уничтожались. Эта контрреволюционная работа протекала на глазах у районного партийного руководства.

В некоторых газетах орудовали и диверсанты, и агенты фашистских разведок, и руководители подпольных троцкистских групп и группочек, и меньшевики, и эсеры, и люди, крепко связанные родственными узами с заграницей, и т. п.

В этой связи следует отметить прямо преступную систему приема работников в редакционный аппарат. Принимают людей на работу обычно технические работники газетного или книжного издательства, в лучшем случае секретарь редакции. Берут без разбора, не вникая как следует в биографические данные о работнике.

Вот несколько фактов из практики «подбора» кадров в редакции некоторых районных газет Московской области.

ТЬ—ВОТ ТО КАЧЕСТВО, КОТОРОЕ ОБЪ БОЛЬШЕВИКАМ И. СТАЛИН.

В г. Рязске до апреля 1937 г. в редакции работал в качестве секретаря некий С., беспартийный. С. при поступлении на работу предъявил документы, из которых видно было, что он выслан на три года из Москвы. Тем не менее редактор, посоветовавшись с секретарем райкома партии, принял С. на работу.

В газете Желтухинского района до недавнего времени работал сотрудником редакции некий Ш., беспартийный. Ш. работал до этого в других редакциях, откуда увольнялся за растраты и хищения бумаги. Редактор газеты, взяв с него «честное слово», что он больше воровать не будет, зачислил его сотрудником. Через некоторое время Ш. в отсутствие редактора украл из типографии 62 кг бумаги и увез ее на редакционной лошади в Рязск, где пытался бумагу продать. В Рязске бумага была задержана милицией, и Ш. был привлечен к судебной ответственности. Но и после этого Ш. в ожидании суда с благословения редактора продолжал работать в желтухинской газете. Через некоторое время он оттуда благополучно уехал и пытался устроиться в горловской районной газете.

В газете Куркинского района в 1934 г. работал секретарем редакции некий М., беспартийный. В декабре 1934 г. М. в отсутствие редактора вверстал под текстом приговора Верховного суда о расстреле убийц товарища Кирова контрреволюционное клише. Редактор ночью читал газету в полосах, но клише не заметил. За это он получил партийное взыскание, а М. был уволен.

Через год этот же редактор вновь принимает М. на работу. Вскоре в редакцию газеты пришел новый редактор. И при новом редакторе М. опять вредительски сверстал в газете два клише таким образом, что получается антисоветская вылазка. У М. хватило наглости после своего вторичного увольнения писать письма в МК ВКП(б) и в «Правду», в которых он утверждал, что увольнение его является результатом плохого отношения к нему со стороны нового редактора.

В этих письмах М. клянется в своей политической честности и ни словом не упоминает о своей вредительской работе в этой же газете в 1934 г.

В калужской «Коммуне» в течение нескольких лет подвизался исключенный из партии еще в 1923 г. некий Е. Он считался «незаменимым специалистом в газетном деле». 1 мая этого года Е. организовал вражескую вылазку в газете. Недавно Е. был разоблачен как враг народа.

В рязанской газете в течение трех лет работал в качестве редактора троцкист Е. Он был членом парткома и считался «своим парнем». Недавно его разоблачили как врага народа.

В редакции той же рязанской газеты подвизалось еще несколько

Наши обязанности

Из речи В.

...ищи! На процессе был один
...котором во время пере-
...существовавшие там пи-
...как о трагической
...ны затронуть пи-

казанях
...нстве

павии. Как будто (н-
ный интерес Фран-
ного государства аз
чтобы не дать не
в Испании. Но ан-
дусская буржуазия
нии настоящую де-
ложную, фальшив-
которая существе-
Франции, и они (с-
...народовластия

врагов народа: троцкист Н., оказавшийся шпионом и руководителем троцкистских групп в Рязанском районе, немецкий шпион П., выполнявший функции информатора фашистской прессы, и другие.

Все эти люди были в свое время приняты на работу без всякого разбора и считались «незаменимыми работниками» в рязанской печати.

Нужно отметить, что и райкомы партии весьма легко относятся к приему и проверке людей, работающих в аппарате редакций, передавая это дело целиком редакторам газет или прямо попустительствуя порочной системе найма на работу в редакции.

С этой «системой» найма надо решительно покончить. Сам редактор газеты, журнала, сам редактор издательства лично должен изучать вновь принимаемых людей.

Мы должны разоблачить и гнать из печати всех до одного враждебных большевистской партии и советскому народу людей. Надо вырвать с корнем всех вражеских последышей из редакционного аппарата, точно так же как надо основательно просмотреть и кадры людей, делающих газету в типографии. Но это только одна сторона дела.

Перед каждым редактором сейчас во весь рост ставится *самая боевая задача* — подготовка кадров, выдвижение в аппарат лучших людей, склонных к работе в печати, из среды рабселькоровского актива, учащейся талантливой молодежи, наконец, из среды практических работников, занятых на самых различных участках социалистического строительства.

Конечно, выдвижение в газету, журнал, издательство, как и всякое иное выдвижение, предполагает систематическое *воспитание* людей на

ательства

Киршона

ны непосредствен-
дзского буржуаа-
ключается в том,
мцам укрепиться
дийская в Фран-
видят в Испа-
мократию, не ту
ую демократию,
т в Англии и
оятся возможно-
в Испании.

Товарищи! Радек, **извивая**
следуемый острыми, бес-
репликами Вышинского,
процессе изобразить д
дите лн, мы думали,
СССР неизбежно,
года, раз поража
чего особенно
ему созе

практической работе и известное *обучение* новых кадров минимуму знаний газетного дела. Конечно, эта работа с новыми кадрами потребует затраты средств, времени и человеческой энергии, но все это окупится сторицей.

Надо разрушить без остатка вреднейшую «теорию», имеющую хождение среди некоторых редакторов и партийных работников, о том, что газету могут по-настоящему делать только «старые газетчики», люди, так сказать, родившиеся в журналистской сорочке. Эту вредительскую теорию, повторяем, надо развеять в прах и засучив рукава взяться за выдвижение и выращивание новых, молодых кадров работников печати. Разумеется, на помощь газетам в этом важном деле должны прийти партийные органы, помочь им материально, людьми, руководством. Коммунистические институты журналистики, газетные школы, комвузы должны со своей стороны помочь газетам в подготовке и переподготовке газетных работников.

Многочисленная армия работников печати, удесятерив бдительность к вражьи пронскам во всех видах, должна подхватить и пронести из края в край нашей страны боевой лозунг:

Выкурих всех до одного врагов из редакций и издательств!

Опираясь на рабселькоровское движение, на славную советскую молодежь, этот мощный резерв работников печати, на активную поддержку местных парторганизаций, выдвигая в органы печати тысячи и десятки тысяч сталинских питомцев, достойных носить великое и почетное звание бойца большевистской печати!

Советские писатели прив покаравшего подлую троцки

1-37

Общемоосковское собран

Бор

Мы непобедимы!

Доклад А. Фадеева

Средние классы, включая не-
редко и рабочих, в
идеологии и
идеологии и
идеологии и

ЮРИЙ ТЫНЯНОВ

ПРИГОВОР СУДА- ПРИГОВОР СТРАНЫ

Семь дней шел этот процесс.
Семь дней убийцы и шпионы да-
ли точные, деловые показания о
лучших советских людей —
за нее, ими просимой, и цене,
давали их хозяева; о ча-
ужей страны, которыми они
оплатить свой приход к
плане разрушений, которые
дали доказать хозяевам их
гне, самое их бытие в
ализма, и которые явля-
ом в расправе с хозяе-
как надеялись они не
лись, сидя на высоких
вож в спину народа.
привести к власти
вдохновителя.
Фашизм не полползал
вашим процессом.
до их быть открове-
процессе!

вынуждены говорить о деньгах и
убийствах. Одними двигала блудли-
вая надежда выслужиться, другими
— тупая покорность и вера в их пове-
лителя, всеми — страшная слепота,
неверие в страну, которая создала
величайшие ценности и продолжает
их создавать. Они готовы верить во
всемогущество японского жандарма,
прусского фельдфебеля, кого угодно,
но только не в эту страну, которой
они не знали, не любили, о силах ко-
торой они никогда и не подозрева-
ли.

В этом все дело, она — чужие всей
стране, всем людям, которые дышат
ее воздухом, трудятся на ее земле,
поют ее песням, читают ее стихи.

Я считал
Николаева
своей стра-
нине в 1918
вела борь-
уставлен и

Мног
пени ч
Но я
ли все
ко, как
никогда
Труд
нием п
степень
ду. Азе
сильные
марным
«героев»
Иде
ко

Выше большевистскую бд

К. ФИНН

Есть ли большее предательство?

Е. ДОЛМАТОВСКИЙ

Мастера смерти

Я знаю смерка — знает больше.

Их с

В дав. годы
превратилась
вонючая
дв. с рабу

Они с
вешаем
Они ус
распада

И. БАБЕЛЬ

Ложь, предательство, сме

Скоро двадцать лет, как Союз Советов, страну справедливого и созидющего труда, ведет гений Ленина и Сталина, гений, олицетворяющая ясность, простоту, беспредельное мужество и трудолюбие.

Работа коммунистической партии в ее руководства — единственный в современном мире залог того, что лучшая мечта человечества осуществится, что свободное и счастливое общество людей будет создано.

Этой работе люди, сидящие на скамье подсудимых, противопоставляют свою «программу».

Мы узнаем на этой «программе», что надо убивать рабочих, топить в шахтах, рвать на части при крушениях.

Мы узнаем на этой «программе», что они хотели продать первое в мире рабочее государство фашизму, всеянные, банкирам, самым отратительным и несправедливым проявлениям материальной силы на земле.

Мы узнаем, что конечно же целью этой «программы» достигаются ложь, предательством, смердаковщиной.

А. Безыменский

Наш вердикт

Меч справедливого суда
Моя республика под'яла!
Опять

троцкистская орда

Перед лицом суда предстала —

И это гнусных змей клубок.

Труссы, шпионы и бандиты,

Что грязью с головы до ног

И кровью жертв своих покрыты.

Они свершали, озверев,

Чудовищные преступления!

И в нас кипит священный гнев,

И нет предела омерзенью.

Стеной штыков окружены

Троцкисты,

пойманные гады.

Их уничтожит без пощады

Суровый приговор страны.

Наш гнев ужасен — и прекрасен.

Мы свой вердикт произнесли

И тот вердикт единогласен:

— Стереть их всех с лица земли!

тельность!

Б. ЛАВРЕНЕВ

ДИТ вся страна

а родная воспе- реализовать свободу советскую за- ка в широтах и восточной Европе, верну ее в Россию, или лавинской процессом на службе капитализма или попытке уничтожить братство в свободной Европе и

ДЯКОВЩИНА

Мы узнаем, что клятвы и красноречие нужны только как инструменты предательства и в самом суровом своем нечеловечески извращены.

Такой «программы» мы не хотим. В борьбе с ней миллионы советских людей готовы отдать свою жизнь.

Изык судебного отчета неопровержим и точен.

Как никогда очевидна теперь безмерная правота нашего правительства. И преданность ваша ему обоснована и безгранична.

К. Ратек

ПУШКИНСКИЕ ДНИ ЗА РУБЕЖОМ

Подготовка к пушкинским дням за рубежом займает все больше стран, в том, что эта работа ведется уже давно, она вылилась в ряд конкретных мероприятий.

В Чехословакии, где проявляют особый интерес к Пушкину, проводились обширные дни ознакомления пушкинских репертуаром; он в театрах, доклады с творчеством Пушкина и трансляция пушкинских программ по радио.

Недавно профессор Пражской уни-

верситета Академического института общества, была его школа Пушкина и ряда других культурных учреждений.

В феврале в актовом зале Тарту, шотландского общества и местного населения с докладом творчество Пушкина и художественной частью за его произведения.

Вместе художественной школой открылась выставка, посвященная великому поэту.

М. ШАГИНЯН
Чудовищные
ублюдки
Еще стоишь в ожидании роженьки Р
всем огнем и пламенем, восторг дивный.

Е. Долматовский

МАСТЕРА СМЕРТИ

Я глаза закрою — станет больно,
Выплывает декабрь.
Недавний год.
Вечер.
Легкою походкой в Смольном
Киров коридорами идет.
А потом
В моих ночах бессонных,
Встанут, звезд сияющих светлей,
Те красноармейцы, что в вагонах
Пели, рядом с гибелью своей.
Я себе скажу,
Друзьям скажу, —
Проверьте.
Вас не слишком ли пленил покой?
Сквозь кордон
Проклятый мастер смерти
Тянется кровавою рукой.
Подлые шпионы и бандиты
Радеками терлись возле нас.
Может быть, еще не все добыты —
Крепче руки и острее глаз!

НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ, БД

Речь тов. Павле Яшвили

До... Это те фамилии, которые прокла...
вкл... наут во всех уголках Грузии, на ка...
шат... перекрестке, в каждом доме...
сов... ровили п...
пер... рна и од...
ра... ков — ст...
ск... рода т. Бе...
ш... олодежь о...
е... к. Каждо...
с... общаешься...
с... проверить...
с... к каждому...
с... Если вор...
с... обращена в...
с... торым он об...
с... будет разн...
с... писателя и...
с... бдительным в...
с... великая пар...

Не случайно, что т. Ставский начал свой доклад призывом к большевистской бдительности. К тем преступлениям, которые вскрывались на процессе фашизма, изменников, террористов и вредителей, соединяется еще гнусная деятельность тех врагов грузинского народа и всех народов СССР, чья причастность к троцкизму, к блоку Зиновьева и Каменева, к блоку Пятакова и других была выявлена процессом. Фамилии их нам известны — это Мдивани, Торшелидзе, Кавтарадзе, Окуджава, Гогоберидзе, Агниашвили, Джикия и др.

Это те фамилии, которые проклинаят во всех уголках Грузии, на каждом перекрестке, в каждом доме Грузии, ибо эти люди готовили покушение на великого Сталина и одного из лучших его учеников — руководителя грузинского народа т. Берия.

Я хочу предостеречь молодежь от повторения наших ошибок. Каждого человека, с которым ты общаешься, надо проанализировать и проверить. Нужно быть бдительным к каждому его шопоту и поступку.

Я хочу предостеречь молодежь от увлечения богемой, потому что эта традиция уводит всегда к врагам, она ведет к отказу от тех высших идеалов, которые выражает сейчас наша советская действительность.

В. Ставский

Бухарин и Радк на всесоюзном съезде писателей в своих докладах отбрасывали пролетарское крыло литературы за рубежом, пролетарскую поэзию у нас и заявляли, что время политической поэзии прошло. Они ориентировали всю поэзию на тот путь, который трисовался Бухариным в виде пути Пастернака. Они хот

Нужно сказать о группе фашистов: Смельяков и Ва. Горький в 1934 г. вместе с нами набили вли...
В. Ставский

ТЕЛЕСНОСТЬ И ЗОРКОСТЬ

5/51-37

ет огромную работу и как гражданин.
И как понятна была вчера боль,
в которой он обратился к поетам, но
сравним на его докладе
... участия в

Ф. ЛЕВИН

Выжечь до конца

Художественная литература — ост-
рое оружие классовой борьбы. Есте-
ственно, что и сам процесс развития
и становления литературы есть про-
цесс классовой борьбы.

Всем памятна и меньшевистская
культурно-социологическая
вещана со вре-

Всем известно, что клеветническая "Повесть о не-
погашенной луне" была буквально продиктована
Б. Пильняку врагами партии...

...завладеть
...участком литерату-
...хотят выжечь до
...и поэтов и прогнать
...его пролетарской
...Всем известна та борьба
...принесли весте за
...допьяна против
...ых теор...

Однако, враг еще стремился
...наши классы
...и автор

...происхождение ме-
...ской литературы...
...попутчиков...
...ими словами, он по-
...изобразил об-
...ження

В. Ставский
Пильняк
Вороженин

В этих стихах Пастернак мы на-
ходим такие «перлы»:
Откос пути размяк
И вспухшим Арагцем
Неслась, сорвав башмак
С болтающейся драгвой!
Пояди и догадался, что поэт в
этих строках говорит о размытой
плотине, как это выяснилось с ним
в беседе!

«Нового мира» за-
...стихах есть
...утвержде-
...народ
...как свое недавнее
...Клидет под долото
...Твоя мечта и цели!

Почтительно признанье
относительно того, что
«О непогашенной луне»
ему подсказали
Радев.

С огорчением приходится признать,
что поэту не пошла вырок ни мнн-
ский поэтический пленум, ни жаркая
дискуссия о формализме, ни жаркая
киноские дни! Эти великодушные пуш-
кинские дни, отмеченные всеми пуш-
киными родами нашей великой роди-
ны.
Это же факт, товарищи, что жи-
вой великий Пушкин одержал сен-
сационную победу, победу над форма-
лизмом в русской литературе. Ибо
доклад т. К. П. Тынянова о призе
Пушкина — это окончательный
гром формализма. А ром...

Литературная

ОРГАН ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА СОВЕТОВ

Суббота, 15 мая 1937 г.

Выкорчевать без остатка

Вне партии, дружеская троица республике выжить и разить буржуа

1

Троцкист Авербах и его оруженосец

По поручению партгруппы на собрании выступил с речью Бс. Вишневецкий. Он подробно охарактеризовал

«Театр и драматургия», где подблизился со своим увлекательным статьями по адресу Киришона террорист Р. Ли-бель.

До последнего дня оставшийся унорным, верным и близким другом Авербаха, Киришон проводил в литературе инспирированную Авербахом

2

Киришон «кается»

В. Киришон с собою для безавности начал свое сообщением с Вишневецким — и верно в этих обвинениях. Тем не он не мог не признать, что долженне 14 лет до последнего он был в близкой дружбе с А



В парткоме

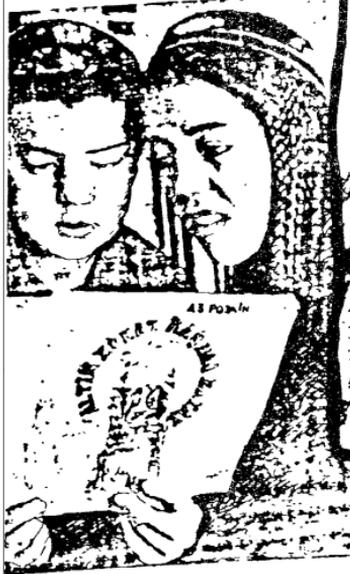
строфе, скатился в троцкистское литературное болото.

Потеря качеств честного большевика и советского драматурга привела к тому, что в журнале «Театр и драматургия», доверенном ему партией, он не сумел сгруппировать нужные кадры критиков и драматургов и пригласил террориста Пикеля.

3

Драматурги об авербаховщине

ИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР



И. Аглицкий, А. Абдуллин, Календаров, Глебов, Сидяковичи, Чистяков, Савва, Пугачев.

Союза писателей
исключены из партии
руно Ясенский
и другие
заседании партгруппы Прав
из Амвара была снята
суть своему «ожиде»
важные. Об этом в
«Ленинском» раскла
на Московском съезде

общественной работы, которые делали Киршона так похожим на его друга и вождя Авербаха.

4 Практика Киршона

На собрании 28 апреля было вновь приведено немало фактов, иллюстрирующих вредную антипартийную деятельность авербаховских приспешников.

А. Глебов рассказал о том, что на квартире Коннора, впоследствии оказавшегося шпионом, у которого бывал и Троцкий, Авербах и его шайка устраивали собрания рапповцев. Сольский-Панский — близкий друг Киршона, бежавший за границу и занявший официальный пост в польской дефензиве, устроился в свое время на службу в Совгизно по протекции Киршона. Об этом напомнил т. Берестинский.

Однако Киршон не разоружился и сейчас. Его высокомерное позерское спокойствие на трибуне, его «полемические», в рапповском духе, реплики с чести вызвали общее удивление и возмущение участников собрания.

5 Разоблачить до конца

Это поведение Киршона заставило т. Г. Лахути вспомнить, как однажды, много лет назад, он встретил в Персии старика, который прикладывал раскаленный кусок железа к телу сына и при этом не позволял ему кричать. Оказалось, старик учил мальчишку воровать, но затем стончески отпираться от совершенной кражи. Ничем не оправданное «стонческое» глadioкровие Киршона яви-

Литературная

ОРГАН ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Вторник, 15 июня 1937 г.

Нет пощады шпионам!

Валы волево-фашистские шпионов
разломаны и уничтожены. Восемь
летов предельных в провашии

скими отрядами среди презренных
предателей и врагов народа устро
дает нашу страну, обхватит ее от фа
шисского зюора, помышлет бли
миллионов советскими лю

А. Егоров

Советские писатели, одобряют расстрел

Враг орудует вблизи

Нет преступлений более гнусных,
чем измена родине.

Мало нам немецкого Тулаше
силье. Ястре и другие вы имеют чув
ство предостережения отъяснения в ту
белый лаварить.

Они призывают нашу родину фа
шисми. Они хотят сделать в нашей
стране. Они хотят ее в фашистской

В дни процесса «бур
троцкистской деструкции» вы
сказать Леон Фелдман; советский писатель под
домашним именем троцкистской веролома пр
Это — огромная в ла
ветского писателя Валда
В такой работе не мож
звучителю вра

Мих. Голодный

Свершился грозный приговор

Клубок змеиный,
клубок кровавый,
Разматывайся до конца.
Пусть стонет враг
в кольце облавы,
И маски валяются с лица.

Напрасно взгляд от страха
мутный
Зовет на помощь
мир господ.
К вам, тухачевские
и путны,
Никто на помощь не придет!

Секция
с участием народного удела
приветствует приговор Специальной
Судебно-Преступного Верховного
суда СССР по делу фашистского измены

депутат
не предает

М. Г. Хачевский

Я. Гамарник

Ля газета

ТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР.

Цена 30 коп.

вместе со всем великим советским народом,
фашистских шпионов, предателей родины

ОДН ПИСАТЕЛЯ АШЕН СТРАНЫ

★
Л. НИКОЛИН

Воля народа совершилась

★
Ф. ГЛАДКОВ

Восемь злодеев-шпионов, измен-
ников родины, диверсантов, наем-
ников фашизма сметены бурей наро-
дного гнева: сваченные с поляны
они предстали перед социалистиче-
ским Верховным судом, пригово-
рны к расстрелу и уничтожены.
Воля народа совершилась.

ароо и изменник

**Враги
заплатят
своей головой**

Секция драматургов ССР-СССР

Свершился
грозный
приговор

ЛИЦО ГАДИНЫ

★
В. ГЕРАСИМОВА

★
Маска сорвана!

Те восемь человек, которые бес-
стыдно и умело в своих уаких, преда-
тельских целях эксплуатировали без-
мерную любовь трудового советского
народа к великой Красной армии,
предстали перед страной в своем под-
линном облике — предателей и гряз-
ных шпионов.

Только оглядываясь назад, можно
притти к выводу, что даже в то вре-
мя, когда предатели еще не были
разоблачены, — нечто особое, отлича-
ющее их от типичных командиров
этой великой армии, лежало на всем
облике этих людей.

Барственно-пресыщенный Тухачев-
ский, интеллигентски-остерствующий
Примаков, чиновничьи непроницае-
мый и сухой штабист Уборевич, ста-
рогенеральская фигура валутого, вы-
сокомерного Корка...

Не дадим житья врагам Советского Союза

Письмо советских писателей

... которые надеялись уничтожить
... яну, упразднить наш социа-
... ский строй, сегодня упраздне-
... п. Упразднены по приговору,
... есенному лучшим сынами
... родины, старейшими и люби-
... мыми командирами славной Крас-
... ной Армии. И наш долг, долг писате-
... лей, бороться за дело социализма в
... своих произведениях разоблачать
... их произведений зловещие тропы его
... та, показать зверные тропы его
... сильной злобы, его двуличие и
... уязвимость.

Наш долг показать мощь и величие
... расной армии, великой народной
... армии, несокрушимую силу которой
... никогда не удастся поколебать измен-
... никам и шпионам.

Редакция журнала «Знамя» и
... актив писателей:

М. Ланда, Вс. Вишневский,
С. Рейзин, П. Павленко, А. Но-
виков-Прибой, С. Вшеницев, Вл.
Лутовской, К. Паустовский, Л. Ру-
бинштейн, Л. Славин, С. Кирса-
нов, Ал. Исбах, Н. Вирта, Вл.
Курочкин, Б. Ромашов, Е. Пет-
ров, Б. Лапин, Геннадий Фиш-
Вас. Гроссман, З. Хацревин, Е. Дол-
Гарский, В. Шкловский, М. Али-
пергер, В. Перцов, В. Гусев, П. Ан-
топольский.

... уничтожают культуру,
... вырождение,
... милитаризацию.
... лучших людей

... фашизм готовит
... европейской войне.
... нападения на на-
... Советских Социалисти-
... Цель врага: по-
... родину, превратить

... вернуть историю
... Советской
... вновь заглатить в
... на вымирание,
... землю, облатую
... расной армии.
... на нас убийц,
... Фашизм берет
... нные остатки
... от страны
... в шпионаж:
... Уборевича,
... на, Корка,

... Ова
... героиче-
... капита-
... тожить
... т Крзе-

... ную армию, победительницу, которая
... сумела разметать, выбросить с нашей
... территории полчища 14 держав
... интервентов.

НКВД и тов. Н. И. Ежов раскрыли
... центр шпионов и мерзавцев.

Писатели СССР требуют у Верхов-
... ного Суда Союза Советских Социали-
... стических Республик осуществленная
... статья 133-й Сталинской Конститу-
... ции.

Мы требуем расстрела шпионов!
... Мы вместе с народом в едином
... порыве говорим — не дадим житья
... врагам Советского Союза!

Вл. Ставский, Лахути, Вс. Ива-
... нов, Вс. Вишневский, Фадеев,
... Леонов, Малышкин, Панфилов,
... Новиков-Прибой, Федим, Павлен-
... ко, Шолохов, Толстой, Тихонов,
... Погодин, Д. Бедный, Гладков,
... Бахметьев, Тренев, Сурков,
... Безыменский, Ильенков, Юдин,
... Кирлотин, Микитенко, Сера-
... фимович, Кирилленко, Луговской,
... Сальвинский, Голодный, Пастер-
... наев, Шагинян, Караваяев, Ма-
... каренко, Гидаш, Бекер, Вайнерт,
... Вольф, Слонимский, Лавренев,
... Прокофьев, Н. Асеев, В. Гераси-
... мов, Битль-Белоцерковский и др.
11 июня.

... итературной газеты» с мате-
... ни первой годовщине со дня
... кого, выйдет 18 июня

... партии, наше-
... вождю товарищу
... лучшие, благородней-
... душевляды совет-

... бота, вся наша жизнь — на
... ва непобедимую социалистиче-
... роднику!

Николай ТИХОНОВ, Мих. СЛО-
... НИМСКИЙ, Александр ПРОКО-
... ФЬЕВ, Борис ЛАВРЕНЕВ, Мих.
... ЗОЩЕНКО, Г. МИРОШНИЧЕН-
... КО.
Ленинград.

Фигура Сталина. Он нагнулся над кар-
 той. Блестят черные волосы. Ленин под-
 ходит к нему, они ходят из угла в угол.
 гордо обсуждая что-то.
 Тонкотрубая «Аврора» движется в оум-
 раке. Ослепительные сцены. Отдельные кар-
 тины великой истории Октябрьских дней.
 отдельные образы великой жизни Ленина.
 Замечательный фильм, увенчавшаяся
 успехом попытка дать в искусстве образа
 Ленина.

Ю. Олеша

В
 «Пор-
 ную в
 станов-
 деятел-
 — Н
 ствен-
 вабро-
 дарны
 жими-
 жпни-
 пораз-
 блестя-
 явля-
 дию
 роль
 сот
 жес
 ми-
 Ил
 пр.
 де
 —

ЗАПОЗДАЛЫЕ ПРИЗНАНИЯ

На общем собрании коллектива театра им. Мейерхольда

С 22 по 23 декабря коллектив театр
 им. Мейерхольда обсуждал выступление
 печати о своем театре.
 Три дня люди коллектива горячо гово-
 рили о том, как преступно относился театр
 им. Мейерхольда к искусству, какие безо-
 бразия творились в коллективе, как нару-
 шались основные принципы работы в со-
 вецком театре с советскими актерами.
 Бесплатность, хаос, самоуправство «ма-
 тера», нетерпимое отношение к самокри-
 тике, индифферентность к искусству.

и той же приятной. Руководство упорно
 стремилось протолкнуть для постановок в
 театре чуждые пьесы или контрреволюци-
 онную страляю различных сомнительных
 «драматургов», чье гнусное лицо сейчас
 полностью открыто.
 В то время, как театры Союза, вплоть
 до самодеятельных клубных кружков, уме-
 ли находить правдивые пьесы, отражаю-
 щие героизм советской жизни, лишь один
 театр, с горечью признали все актеры, —
 это театр Мейерхольда.
 Пьеса «Оли»

Связать хотели и на бойню!
 Всех вместе, под единый нож! —
 Тебя, восставшую на ложь,
 Страны Советов молодежь!
 Вас, матерей, клянущих войны
 И в бой зовущих сыновей
 За дело братьев и мужей!
 Вас, сестры, молодых и стройных,
 Вас, дети родины моей!..
 "Вы их продать хотели?" — "Да".
 "В Госбанке воровали?" — "Да".
 "Страну распродавали?" — "Да".
 "Чья директива? — Троцкий?" —
 "Да".

Михаил Голосный

Далее конференция заявляет:
 «Если враг не сдастся, его унич-
 тожат!». Эти слова великого гума-
 ниста А. М. Горького отражают мне-
 ние всех трудящихся нашего вели-
 кого народа и всех работников во-



Мы еще более усилим нашу бдительность! Пусть трепещут все шпионы, диверсанты и убийцы! Да выразят НКВД я его руководительтам диктатура рабочего класса! Г. Фиди

Народный Комиссар Внутренних дел СССР Генеральный Комиссар Государственной Безопасности товарищ Н. И. ЕЖОВ за выдающиеся успехи в деле руководства органами НКВД по выполнению правительственных заданий награжден ОРДЕНОМ ЛЕНИНА.

Работа в органах НКВД является наградой сама по себе, поскольку народ доверяет тебе этот острейший участок защиты интересов всего Советского государства. Отсюда и требования народа к работникам НКВД более повышенные. И первой, священной нашей обязанностью является оправдать это доверие.

Н. ЕЖОВ.

Советские писатели, приветствуют товарища Н. И. Ежова

№ 20
ПОНЕДЕЛЬНИК
1937 г. 23

Дорогой Николай Иванович!
Правительство Советского Союза наградило вас орденом Ленина за выдающиеся успехи в деле руководства органами НКВД по выполнению правительственных заданий.
Писатели нашей страны горячо и от всей души поздравляют вас с этой высокой наградой. Писатели приветствуют вас, боевого руководителя фаланги бойцов-наркомовцев, самоотверженно и победоносно сражавшихся на передовых позициях борьбы с врагами социализма, с врагами народа. Под вашим руководством и при поддержке миллионов Наркомвуддел разгромил основные змеиные гнезда изменников и предателей, покушавшихся на нашу родину, на счастье и жизнь народов СССР.
Оказывая всем нам образцы коммунистского выполнения указа-

ний партии и великого Сталина о высокой революционной бдительности, вы громите и выкорчевываете троцкистско-бухаринских наемников фашизма, наносите сокрушительные удары шпионам, вредителям, диверсантам, как бы хитро они ни маскировались.

Мужество и твердость подлинного большевика, прозорливость и закалка сталинца, безграничная преданность ленинско-сталинской партии, действуют те качества ваши, которые обеспечили успех порученной вам партийной дела.

Советские писатели шлют вам, вместе со всем народом нашей страны, горячий привет и желают вам новых сил и новых побед в борьбе за торжество коммунизма!

ПРАВЛЕНИЕ СОЮЗА
СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ.

Винтовки на изготове у погранника; воркость, смелость и непримиримость на изготове у работников Наркомвуддела, у товарища Ежова.
И мы, работники литературы, обаяваны удесятерить наши силы, наше искусство, наш воркость. В. ГЕРАСИМ

Славный НКВД и его боевой руководитель, верный сталинец тов. Н. И. Ежов, беспощадно выкорчевывает и стирает с лица земли всю бандитскую сволочь, всех шпионов, фашистов и диверсантов. Ф. Гладков.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПЕЧАТЬ

ГАЗЕТА

Орган правления Союза
Советских писателей СССР
Редакция: В. Сталин, Е. Пигарева
О. Водовоз

20-летие
ВЧК —
ОГПУ —
НКВД

на заклятие: Зошенко, Бабель, Яшвили... Смертный приговор Тухачевскому подписал Блюхер...

Как будто старались все общество связать круговой кровавой порукой, сделать всех соучастниками преступления, превратив интеллигенцию в аморфную бессмысленную массу. Казалось, все кончено — поля выгоптаны: и сил больше нет. И если Павел Антокольский этот змеиный год посмел назвать "пушкинским", то на этой земле, казалось, уже больше ничего не вырастет.

И это все-таки чудо, что после такого унижения кто-то сумел выпрямиться и вопреки всему продолжить дело русской культуры.

Этот коллаж — 1937 год — подбирался долго. И время от времени вокруг него закипали страсти.

— Потрясающий материал, хотя и очень уж страшный, — сказал нам, перебирая газетные вырезки, добрый знакомый (1919 г.) и соучастник многих наших эмигрантских затей, а через несколько минут, обнаружив чудовищную статью своего старого и старшего друга, добавил: Только не надо это печатать.

— Вы не думаете, что публикация некоторых материалов из этой подборки — это плевок в спину погибших? — спросил еще один приятель (1931 г.), а кончил разговор совершенно неожиданно: Книгу, книгу из этого надо сделать, большую книгу.

— А зачем вы печатаете про Киршона и Авербаха? Помню я их дела — большие были сволочи, сами кого угодно сжигали, да и пострадали они не за правду, а только за связь с Ягодой: ведь Авербах был его зятем, — возмущался церковный писатель (1915 г.), в 30-е годы учитель словесности.

— Господи! Как они могли жить, если почти каждый день, почти в каждой газете кого-то клеймили, разоблачали, уничтожали? Как они могли жить? — все допытывался наш типограф (1955 г.), обрабатывая очередную матрицу для этого номера.

Он родился через два года после смерти Сталина и уже ничего не знал, кроме нескольких книг мемуарного свойства и бессмысленного словосочетания "некоторые нарушения социалистической законности в период культа личности"...



В.А. Катанян

К ИСТОРИИ ИЗДАНИЙ

Ноябрь 1935 года.

Я живу в санатории "Узкое". Это совсем близко, под Москвой. Только проехать страшную булыжную Большую Калужскую, а там прекрасный асфальт до самого подъезда. Городской телефон.

Водолечебница. Принимая ежедневный душ Шарко в обществе голых академиков, я должен был внести оговорку в известную горьковскую формулу – человек это звучит гордо, но выглядит удивительно жалко...

После завтрака мой сосед П.А.Павленко читает мне одну-две главы своего нового произведения, а по вечерам мы смотрим как знаменитый профессор Плетнев играет на бильярде с шеф-поваром.

Профессор нервничает, кричит, распоряжается, работает на публику, а повар молча, ласково катает шары, но так, что один обязательно скатывается в лузу.

– Вас просят к телефону...

Галя¹ говорит, что звонила Лиля Юрьевна² из Ленинграда, завтра утром приедет, просит в десять часов быть у нее. По важному делу...

* Воспоминаниями В.А.Катаняна о письме Л.Ю.Брик Сталину открывается серия публикаций о В.В.Маяковском в журнале "Синтаксис".

Утром Плетнев довез меня до города, и я вовремя был на Арбате.³ Лиля Юрьевна рассказала, что несколько дней назад она написала письмо Сталину⁴ по поводу всех дел Маяковского, что вчера ей позвонили из ЦК и сейчас, через полчаса, она едет к Ежову — это четвертый секретарь ЦК... Пропуск заказан.

Вот это письмо...

24.11.35

Дорогой товарищ Сталин!

После смерти поэта Маяковского, все дела, связанные с изданием его стихов и увековечением его памяти, сосредоточились у меня.

У меня весь его архив, черновики, записные книжки, рукописи, все его вещи. Я редактирую его издания. Ко мне обращаются за материалами, сведениями, фотографиями.

Я делаю все, что от меня зависит, для того, чтобы стихи его печатались, чтобы вещи сохранились и чтобы все растущий интерес к Маяковскому был хоть сколько-нибудь удовлетворен.

А интерес к Маяковскому растет с каждым годом.

Его стихи не только не устарели, но они сегодня абсолютно актуальны и являются сильнейшим революционным оружием.

Прошло почти шесть лет со дня смерти Маяковского, и он еще никем не заменен и как был, так и остался крупнейшим поэтом нашей революции.

Но далеко не все это понимают.

Скоро шесть лет со дня его смерти, а "Полное собрание сочинений" вышло только наполовину, и то — в количестве 10 000 экземпляров.

Уже больше года ведутся разговоры об однотомнике. Материал давно сдан, а книга даже еще не набрана.

Детские книги не переиздаются совсем.

Книг Маяковского в магазинах нет. Купить их невозможно.

После смерти Маяковского в постановлении Правительства было предложено организовать кабинет Маяковского при Комакадемии, где должны были быть сосредоточены все материалы и рукописи. До сих пор этого кабинета нет.

Материалы разбросаны. Часть находится в Московском

литературном музее, который ими абсолютно не интересуется. Это видно хотя бы из того, что в бюллетене музея о Маяковском почти не упоминается.

Года три тому назад райсовет Пролетарского района предложил мне восстановить последнюю квартиру Маяковского и при ней организовать районную библиотеку имени Маяковского.

Через некоторое время мне сообщили, что Московский совет отказал в деньгах, а деньги требовались очень небольшие.

Домик маленький, деревянный, из четырех квартир (Таганка, Гендриков пер., 15). Одна квартира – Маяковского. В остальных должна была разместиться библиотека. Немногочисленных жильцов Райсовет брался переселить.

Квартира очень характерная для быта Маяковского – простая, скромная, чистая.

Каждый день домик может оказаться снесенным. Вместо того, чтобы через 50 лет жалеть об этом и по кусочкам собирать предметы из быта и рабочей обстановки великого поэта революции – не лучше ли восстановить все это, пока мы живы.

Благодарны же мы сейчас за ту чернильницу, за тот стол и стул, которые нам показывают в домике Лермонтова в Пятигорске.

Неоднократно поднимался разговор о переименовании Триумфальной площади в Москве и Надеждинской улицы в Ленинграде – в площадь и улицу имени Маяковского. Но и это не осуществлено.

Это основное. Не говорю о ряде мелких фактов. Как, например: по распоряжению Наркомпроса из учебника современной литературы на 1935 год выкинули поэмы "Ленин" и "Хорошо". О них и не упоминается.

Все это, вместе взятое, указывает на то, что наши учреждения не понимают огромного значения Маяковского – его агитационной роли, его революционной актуальности. Недооценивают тот исключительный интерес, который имеется к нему у комсомольской и советской молодежи.

Поэтому его так мало и медленно печатают, вместо того, чтобы печатать его избранные стихи в сотнях тысяч экземпляров.

Поэтому не заботятся о том, чтобы, пока они не затеряны, собрать все относящиеся к нему материалы.

Не думают о том, чтобы сохранить память о нем для подрастающих поколений.

Я одна не могу преодолеть эти бюрократические незаинтересованность и сопротивление – и после шести лет работы обращаюсь к Вам, так как не вижу иного способа реализовать огромное революционное наследство Маяковского.

Л. Брик

Мой адрес:

Ленинград, ул. Рылева, 11, кв. 3.

*Телефоны: Коммутатор Смольного, 25-99
и Некрасовская АТС – 2-90-69.*

Все, о чем говорилось в этом письме, мне, конечно, известно. Я был не только свидетелем, но непосредственным участником всех начинаний в области издания книг Маяковского в эти годы.

Многие из этих начинаний имели продолжение и не имели конца, другие не имели и продолжения. Много раз я собирался подробно день за днем записать историю какой-нибудь удивительной волокиты, которая засосала и погубила великолепную идею. Но потом в середине дела природный оптимизм брал верх, мне начинало казаться, что все пойдет на лад, и я бросал записывать – кому же интересна волокита, которая окончилась благополучно?

Так, когда-то Владимир Владимирович попробовал перечислить свои хождения по канцеляриям фининспекторов по делам Асеева, у которого судебный исполнитель описал роаяль. Асеев тогда лежал в туберкулезном санатории "Высокие горы".

Список этот из 29 пунктов начинался "хождением с подачей деклараций и объяснением", потом – "переговоры и хождение с неправильным обложением (впоследствии измененным)". Потом хождение в Федерацию писателей по вопросу о наложении ареста (пункт 10) и в Молдвик⁵ (пункт 12), переговоры и хождение в Бауманский райсовет (13), переговоры с т. Князевым (Наркомфин) о снятии ареста и пени (15), затем хождение в Мосфиногдел для розыска бумаги т. Князева (19), в отдел принудительных взысканий за получением бумаги о снятии ареста (22), потом снова в Бауманский райсовет для получения новой окладной бумаги (24) и снова в издательство "Федерация" с окладной бумагой для перевода следуемой суммы (25). И т.д. и т.д. Последний пункт – 29 "Извещение об аннулировании всех ходатайств".

За всем этим есть еще примечание: "Эти хождения по делам, увен-

чанные приемом, кроме того - хождения безрезультатные, с "зайдите завтра" - 12 раз"...

Так вот... Не имея такого рода записей, я хочу все же попытаться вспомнить все по порядку... Кое-что могут подсказать бумаги из старых папок.

... В начале мая 1930 года Н.Н. Асееву позвонили от наркома просвещения А.С. Бубнова - пригласили зайти поговорить по поводу последнего письма Маяковского "Если ты устроишь им сносную жизнь - ..."

Мы отправились вдвоем. По дороге в Наркомпрос имели повод вспомнить, как на одном из заседаний Рефа - совсем недавно! - Маяковский положительно отзывался о замене Луначарского на посту наркома просвещения Бубновым - сугубо политической фигурой.

- Он утверждал нам первый Леф, в 23-м году...

- А в искусстве он разбирается?

- Пусть разбирается в политике, - сказал тогда Маяковский.

(Забегая вперед, скажу, что прошло немного времени и наркома убедили, что он все может и в искусстве, и вскоре художники стали получать от него указания - как им развешивать картины на выставках...).

Но пока новый нарком в защитной гимнастерке сидит в новом скромном кабинете у окна. Говорит коротко, без преамбул, по существу. Предлагает написать от имени друзей Маяковского обращение в правительство о закреплении прав на литературное наследство.

- Ну да, конечно... Но этого письма у нас нет. Есть газета... - перед ним лежала "Правда" от 15 апреля. - Вот, например, сестры... Сколько их? Как их зовут? По советскому закону братья и сестры не имеют права наследования... Здесь есть еще одна фамилия... Стало быть, речь идет об исключениях из закона. Короче - нам нужно иметь документ, на котором можно ставить резолюции. Так мы устроены.

Глаза живые, умные, ярко голубые.

- На чье имя писать? - спросил Асеев.

- Я думаю - на имя Всероссийского Центрального Исполнительного комитета. И доставьте сюда.

Через несколько дней письмо готово. Но когда мы при-

несли его в Наркомпрос, нас попросили переписать его и адресовать наркому просвещения с просьбой "войти с соответствующим ходатайством в правительство о закреплении правительственным актом прав на литературное наследство за его семьей..." И т.д.

Это письмо, датированное 18 мая 1930 года, было подписано "по поручению друзей и товарищей по работе покойного В.В.Маяковского" Н.Н. Асеевым и мной.

Потом все дело перешло в Совнарком. Там занимался им референт председателя СНК по фамилии Шибайло. Он приходил к Лиле Юрьевне, был у Александры Алексеевны и сестер. Разговаривал и с В.В.Полонской — считает ли она себя членом семьи? Она ответила отрицательно⁶.

7 июля, как записано в дневнике Лили Юрьевны, Шибайло звонил, просил "приехать и прочесть проект постановления Совнаркома. Начало пока в двух вариантах: 1-й — принимая во внимание заслуги перед революцией пролетарского поэта В.Маяковского...", 2-й — "Принимая во внимание заслуги перед трудящимися массами великого поэта пролетарской революции В.В.Маяковского..." Мы с Катаняном предложили — великого пролетарского поэта..."

Окончательная редакция соединила в себе два варианта (но без "великого"). Постановление СНК РСФСР "Об увековечении памяти тов. Вл.Вл.Маяковского" было подписано председателем СНК С.И.Сырцовым 23 июля 1930 года и опубликовано в "Известиях" 27-го. Оно гласило:

"Принимая во внимание заслуги перед трудящимися массами скончавшегося поэта пролетарской революции В.В.Маяковского, Совнарком РСФСР, признавая необходимым увековечить память о нем и обеспечить его семью, постановляет:

1) Обязать Государственное издательство РСФСР издать под наблюдением Лили Юрьевны Брик полное академическое собрание сочинений В.В.Маяковского.

2) Назначить с 1 мая 1930 года семье В.В.Маяковского в составе Лили Юрьевны Брик, Александры Алексеевны Маяковской, Людмилы Владимировны Маяковской и Ольги Владимировны Маяковской персональную пенсию в размере трехсот рублей.

3) Просить Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР предложить Коммунистической академии

организовать кабинет В.В.Маяковского, а также разрешить вопрос о сохранении его комнаты”.

Отдельным постановлением (которое было разослано заинтересованным лицам) было закреплено право литературного наследства в одной половине за Л.Ю.Брик, и в другой — за матерью и сестрами. Назначенная же пенсия была поделена ими на четыре части.

Идея о создании “Кабинета Маяковского при Комакадемии” исходила от Лили Юрьевны и Осипа Максимовича. “Начатые стихи отдайте Брикам...” Как ни мало придавал сам Маяковский значения рукописям и датам — “Сие написано 2 мая. Павловск, Фонтаны”, — но оставшиеся после него записные книжки и бумаги, которых касалась его рука, были после него уложены в спешно приобретенные железные ящики. Ну, а дальше? Меньше всего они (Брики) стремились “владеть” всем этим, копить и прятать от посторонних глаз.

Наоборот! Они искали возможности отдать все это — обществу. Государству. А конкретно? Как? Куда? В дряхлые объятия старого литературоведения? Или в недружелюбные руки рапповских комбинаторов? Если уж в Академию, то по крайней мере, в Коммунистическую...

Из этого, в конце концов, ничего не получилось. Не было никакого встречного движения. Не было заинтересованных людей. Да и самая форма постановления — “Просить Президиум ЦИК СССР предложить Комакадемии...” и т.д. оставляла Комакадемию все возможности ждать этого предложения. И не торопиться. Так прошло пять лет. А потом (в начале 1936 года) и сама Академия перестала существовать.

После Маяковского осталось незаконченное собрание сочинений. Шестой том — последний, который видел автор, — появился в январе 30-го года, когда писалось “Во весь голос”. (Известная заключительная строка имела тогда вариант: “Все шесть томов моих партийных книжек”). Седьмой том, сданный Маяковским в Госиздат еще в августе 1928 года, вышел в свет через 7 месяцев после его смерти. Восьмой том был сдан в конце 1929 года, появился в середине 1931 года. Тома девятый и десятый готовил уже П.В.Незнамов. Вышли они в 1931 и 1933 гг.

Раньше, чем это издание, выходявшее тиражом в 3 тысячи, было закончено, оно стало библиографической редкостью. Надо выпускать новое. Полное, что называется — академиче-

ское. Одновременно были проекты выпустить и дешевое, массовое издание. Об этом шли переговоры с Госиздатом, который самосильно выпустил томик в "Дешевой библиотеке", хотя и тиражом в сто тысяч, но с таким количеством опечаток и с таким портретом, что когда Лиля увидела, она заплакала. Шли переговоры с издательством "Земля и фабрика", которое предложило сделать 10 томиков в переплете по 65 копеек. "Огонек" в свою очередь хотел объявить Маяковского приложением к "Литературной газете" на 1931 год. Но Госиздат, имевший с этим автором генеральный договор, запротестовал против всяких дешевых изданий на стороне.

Тем усерднее нужно, стало быть, готовить то полное, единственно реальное, о котором есть и в правительственном постановлении.

Первый вариант плана — на 22 полутома (и даже на 27!) — чтобы чаще выходили и дешевле стоили. Первый вариант редколлегии — все, вплоть до Керженцева. Лиля Юрьевна встретила с Керженцевым. Он свое участие отклонил, а Незнамова и меня предложил заменить Авербахом и Коном. Вместо предполагавшейся вступительной статьи О.М.Брика лучше... ну, хотя бы Беспалова.

Эта большая редколлегия не собралась, кажется, ни разу. Более узкая — Н.Н.Асеев, Кирсанов, Л.Ю., О.М.Незнамов и я — временами собиралась, а практически работа ложилась на последних четырех.

Вначале думали, что это собрание можно и нужно выпустить очень быстро — готовить и сдавать издательству чуть ли не по три тома в месяц. Встретился как-то Лиле Юрьевне поэт Уткин, заведующий отделом поэзии Гослитиздата, и внес предложение растянуть издание на два (!) года (вместо 1 года 3 месяцев). — Куда вы торопитесь? — Потом были и другие предложения, направленные к оттяжкам и растяжкам. Разумеется, и мы сами не могли выдержать темпов, которые себе задавали.

Так или иначе, один том из этого издания, седьмой, в начале 1931 года сдан в издательство. Это была поэма "Владимир Ильич Ленин" с черновиками и разночтениями, подготовленными мной. Небольшая книга в 128 страниц, с 3 иллюстрациями, пробыла в производстве больше года, как хладнокровно гласят выходные данные: "Сдана в набор 7 июля 1931 г. Подписана к печати 16 июля 1932 г.". Она была при этом несообразно

плохо издана, на отвратительной разноцветной бумаге, со всеми знаками пренебрежения, которые издательство может выказать таким способом автору.

Когда книга в октябре появилась в свет, Гослитиздат сам удивился своей работе и, устыдившись, предложил вышедший том похерить и, как ни в чем не бывало, начать издание сызнова. (Может быть, изменилось руководство? Не помню.)

Десять тысяч экземпляров этого неудачного тома было незаметно распродано и безо всякого извинения перед читателями и признания ошибок, просто в 1934 году начало выходить новое издание в совсем другом оформлении.

Первым вышел 5 том, с поэмой "Про это", редакция и примечания П. Незнамова, вступительная статья Н. Асеева. Потом — третий ("Мистерия-буфф"), шестой, первый, седьмой, девятый, десятый... И т.д.

Но до сих пор ко мне поступают недоуменные вопросы библиографов и библиофилов — что это за дикий 7 том? Как его понимать? Было ли начало и продолжение?..

В утешение библиофилам, обладателям этого одинокого синего томика, хочу обратить их внимание — во-первых, на то, что текст поэмы напечатан полностью, со всеми опускаемыми впоследствии фамилиями. И, во-вторых, на страницу 119, где приведена большая цитата из передовой № 1 (5) журнала "Лев", которая под заглавием "Не торгуйте Лениным" не появилась в журнале, хотя и помечена в оглавлении. Эта небольшая статья по общему тону и отдельным мыслям совпадала с некоторыми местами первой части поэмы "Владимир Ильич Ленин". Написана она (передовая) была по поводу объявлений, появившихся в газетах, о бюстах Ленина "гипсовых, патинированных, бронзовых, мраморных и гранитных в натуральную и двойную величину"... "Осмотр и прием заказов в отделе коммерческих изданий"...

Передовая заканчивается так:

"Мы настаиваем:

Не штампуйте Ленина.

Не печатайте его портретов на плакатах, на клеенках, на тарелках, на кружках, на портсигарах.

Не бронзируйте Ленина.

Не отнимайте у него живой поступи и человеческого облика, который он сумел сохранить, руководя историей.

Ленин все еще наш современник.

Он среди живых.

Он нужен нам как живой, а не как мертвый.

Поэтому — учитесь у Ленина, но не канонизируйте его.

Не создавайте культа именем человека, всю жизнь боровшегося против всяческих культов.

Не торгуйте предметами этого культа.
Не торгуйте Лениным!
Леф⁷”

Разговоры, которые велись о дешевых изданиях Маяковского, возникали, продолжались и затухали на протяжении четырех лет.

Когда Лиля Юрьевна переехала в Ленинград, в 1934 году, Ленинградское отделение Гослитиздата согласилось на одностомник, приняли подготовленную Л.Ю. рукопись и даже набрали, а потом, после трех корректур... рассыпали набор. Это была последняя капля, переполнившая чашу... Она села писать письмо...

... И вот она вернулась из ЦК от Ежова с резолюцией на своем письме:

”Тов. Ежов, очень прошу Вас обратить внимание на письмо Брик. Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи⁸. Безразличие к его памяти и его произведениям – преступление. Жалобы Брик, по-моему, правильны. Свяжитесь с ней (с Брик) или вызовите ее в Москву. Привлеките к делу Таль и Мехлиса и сделайте, пожалуйста, все, что упущено нами. Если моя помощь понадобится, я готов. Привет! И. Сталин”.

Эти слова были написаны наискось красным карандашом. Л.Ю. попросила разрешения переписать их.

– Пожалуйста...

У нее была с собой копия письма, на которую она и списала эту памятную резолюцию. Две фразы из нее получили потом широкую известность.

Невысокого роста человек с большими серыми глазами, в темной гимнастерке, встретил ее стоя, продержал у себя сколько нужно, подробно расспрашивал, записывая, потом попросил оставить ему клочок бумаги, где у Л.Ю. были помечены для памяти все дела и издания. ”Оставьте мне вашу шаргалку. У меня хорошая зрительная память”, – сказал он.

Звонил при ней в Моссовет Булганину относительно переименования Триумфальной площади. ”Вот что думает по этому поводу хозяин”. Прочел ему резолюцию. Потом говорил с Мехлисом из ”Правды”.

Проговорив полчаса с Ежовым, Лиля Юрьевна не

увидела (разумеется!) никакой будущей ежовщины, никаких признаков той роли, которую Ежову предназначалось играть через два года.

— Он похож на хорошего рабочего из плохого советского фильма. А может быть и из хорошего фильма...

Когда писалось это письмо, никакой уверенности в успехе, разумеется, не было. Но где было искать помощи? В организации писателей? Недоброжелательство Горького было известно Лиле Юрьевне лучше, чем кому бы то ни было⁹. И тут выходило, что самый высокий адрес, он же и единственный, куда надо писать...

Конечно, письмо могло и вовсе не дойти, но если уж дошло... Впрочем, ждать пришлось очень недолго...

Среди людей, которых обрадовало такое решение дела в пользу Маяковского, многие думали — как это просто! Стоило только сообщить вождю о творимых безобразиях... Другим, которые отталкивались от Маяковского или были просто равнодушны, этот неожиданный поворот мог грозить осложнениями или неприятностями. Ну, скажем, издательским работникам, которые волюнили или рассыпали набор. Поэт Алексей Сурков, например, реагировал на эту новость с точки зрения групповых делишек:

— Ну, теперь с Семкой сладу не будет...

Как отнесся А.М. Горький — не знаю.

... Лиля позвонила в Ленинград и рассказала Осипу Максимовичу, который не мог отлучиться от Малого оперного, где шли в то время репетиции "Камаринского мужика"¹⁰.

Потом звонила Александре Алексеевне и сестрам, с которыми поддерживались нормальные отношения.

Потом Николаю Николаевичу Асееву и Семе Кирсанову. Они вскоре прибыли прочесть все своими глазами. Родовались.

Вечером мы с Л.Ю. поехали в "Правду". Я сидел у И.Г. Лежнева, пока Мехлис беседовал с Лилей Юрьевной. Лежневу все это было до лампочки, но он — интеллигентный человек, заведующий отделом искусства "Правды" по назначению самого Сталина, проявляет вежливую заинтересованность.

Мехлис тоже не выказал особого восторга и просил разрешения у Л.Ю. скопировать резолюцию, но сделал это неаккуратно (или м.б. решил чуть подредактировать текст?) и в появившейся через несколько дней литературной странице "Прав-

ды”, посвященной Маяковскому (5 декабря) две фразы из этой резолюции, получившие вскоре мировую известность, были напечатаны с ошибкой. Вместо ”лучшим, талантливейшим” — ”лучшим, талантливым”... Пришлось потом поправлять — правильный текст см. в передовой ”Правды” 17 декабря 1935 г. В этот день было объявлено о переименовании Триумфальной площади в Москве в площадь Маяковского.

В январе — большой вечер в Колонном зале. Доклад делал И.К. Луппол — главный редактор Гослитиздата. В президиуме Мейерхольд, Асеев, Александра Алексеевна Маяковская, Л.Ю. и О.М., Керженцев (?), Третьяков, Кольцов, Кирсанов, многие. На этом вечере Мейерхольд объявил, что он будет у себя в театре возобновлять ”Клопа” под заглавием ”Феерическая комедия”. Выступал Осип Максимович. Он был в ударе, очень оживлен, говорил, конечно, не по бумажке и не с кафедры, а свободно передвигаясь по эстраде, рассуждая, останавливался, потом снова начинал движение. При всей логической ясности его речи, в ней привлекало и то, что французы называют ”беспорядок дружеской беседы”. Он говорил непринужденно и в то же время так театрално, что у Мейерхольда даже появилось желание внести кое-какие уточнения в мизансцену. Он вынес стул и молча поставил перед О.М., чтобы оратор мог, разговаривая, опираться на спинку. Оратор сказал несколько фраз с помощью стула, а потом снова пустился в свободное плавание по эстраде. Это был самый лучший Осип Максимович, в лучшей своей форме, в полном контакте с публикой. Ему горячо аплодировали.

Потом был Яхонтов, великолепный Яхонтов, несомненно самый удивительный исполнитель стихов Маяковского. О нем нужно писать, как пишут о концертирующих музыкантах-исполнителях, об их индивидуальном понимании музыкального произведения, манере выражения поэтического содержания музыки, или здесь — музыкального содержания поэзии, ее глубины, правды, страстности.

Страдиварий, заключенный в его грудной клетке, был могучий, красивый и тонкий инструмент, с огромным диапазоном звучания. Одержимо влюбленный в русскую поэзию и прозу, Яхонтов мог, выйдя один на сцену, сыграть *все* — от эпиграммы до ”Горе от ума”.

Есть рассказ о том, как Станиславский однажды обратился к Шаляпину:

— Федор, научи меня читать стихи...

Вероятно, больше смысла было ему просить об этом юношу, ходившего у него в учениках, юношу, самостийно постигавшего это искусство, проявив удивительный вкус к звучащему слову.

Этот высокий, красивый без красоты человек, с несколько кривящим на сторону ртом, со светлыми волосами, спадавшими на лоб в косом проборе, умел создавать сценический образ вне характерности, за которую цепляется каждый актер на сцене. Он умел читать лирические стихи, как стихи, избегая штампов декламационных приемов, пробираясь по краю между патетикой и иронией. Он много чего умел...

Мейерхольд — тоже его учитель! — говорил как-то об утерянном искусстве жеста: "Если нашим актерам отрубить руки — ничего не изменится". Яхонтову не нужно было обрубить руки. Он знал, что такое жест в героическом произведении и как им пользоваться в гротеске...

Мы часто встречались с Владимиром Николаевичем на вечерах памяти Маяковского. Потом, в военные годы, еще чаще... Дома — живя на досягаемом расстоянии от этого талантливого, легкого на подъем прелестного человека, нельзя было не искать возможностей применения этому голосу, этому таланту, этой артистичности *sui generis*. Так, помню в 44-45-х годах мы с С.И.Владимирским затеяли на студии научно-популярных фильмов картины о Чехове и Маяковском, которые и в голову не могли прийти, если бы рядом не было Яхонтова.

Надеюсь — я еще сумею в своем месте рассказать об этом, а сейчас нужно возвращаться в 1936 год... Там еще уйма дел...

... Много я прочел корректур в том году. Вероятно, не меньше и в следующем. Так постепенно сложилось, что все книги Маяковского, которые выходили в Гослитиздате, не миновали меня. Кроме того, что я был составителем некоторых сборников, я, как выпускающий редактор, ставил свое имя на последней странице, где выходные данные. Хотя и не состоял в штате Гослитиздата.

Надо было не только самому уразуметь некие приемы и установить стандарты набора и оформления стихов Маяковского

го, но и научить этому технического редактора, от которого в конечном счете зависит внешность книги.

Надо было скорее кончать собрание сочинений. Три тома было в производстве, четыре наиболее сложных, заключавших множество неизвестного и несобранного, еще предстояло сдать. Кроме того, было намечено несколько тематических сборников и собрание сочинений в 4-х томах — массовым тиражом в 75 тысяч. Все это вышло в 1936 году.

Одновременно решено было приступить к новому изданию собрания сочинений, собственно к переизданию еще не законченного, с учетом допущенных ошибок и промахов. Оно должно было выходить тиражом в 20 тысяч (вместо 10 тысяч первого), в лучшем оформлении, с большим количеством иллюстраций. Тот же коллектив, подготовивший первое издание — В. Тренин и Н. Харджиев, Л. Поляк и Н. Реформатская, А. Февральский, В. Дувакин и я, при самом близком участии О. М. Брика. Общая редакция — Л. Ю. Брик, и к ней был присоединен теперь от Гослитиздата И. М. Беспалов. (Так под двумя фамилиями было закончено первое издание.)

Очень хотелось, чтобы новое издание выходило в строгом порядке томов. Так мы и стали их готовить, начиная с первого, и споткнулись только на четвертом, где В. Дувакин никак не мог совладать с многочисленными Окнами Роста в разных хранилищах. (Этот том вышел позже всех — в 1949 году.) Всего было их намечено 12.

Я заказал новое оформление вернувшемуся из Парижа Натану Альтману. Он сделал очень интересный проект. Трудность заключалась в том, чтобы как-то видоизменить или загримировать однообразный материал, единственный, которым располагало издательство. Картон, оклеенный стандартным серым ледерином, глубоким тиснением превращался в ребристое крыло самолета. Рисунок менялся с освещением. Книгу можно в темноте нащупать на полке. Макет утвердили, заказали штампы, но взбунтовалась типография — слишком большая возня! Альтман был отставлен, дюраль в итоге превратился в некое подобие красного рубчатого бархата.

В течение года мы приготовили четыре или пять томов, они пошли в набор, но тут в нормальный ход типографской волокиты вмешались совсем другие силы, и все повисло в неопределенности.

В августе 1936 года был арестован В.М.Примаков¹¹. Не-
други Лили Юрьевны — а в них недостатка не было, ни в явных,
ни в тайных, ни просто в завистниках, — приободрились: не
пришло ли время свести счеты? О.В.Маяковская злорадно за-
метила: "Кто же вам поверит, что вы шесть лет жили с врагом
народа и ничего не знали?" Это было последнее, что сестры смо-
гли сказать Л.Ю. лично. Все остальное они говорили уже за спи-
ной...

В 1937 году были арестованы И.К.Луппол и И.М.Беспа-
лов. На место давно известного Н.Н.Накорякова, не хватавше-
го звезд с неба, но порядочного и делового человека, директо-
ром издательства был назначен С.А.Лозовский, бывший до то-
го крупным деятелем международного профдвижения. Гослит-
издат он считал, видимо, для себя кратковременным мезальян-
сом, распоряжался размахисто и бестолково. Впрочем, были и
еще особые обстоятельства, осложнившие для меня и без того
достаточно сложную обстановку в издательстве.

Здесь у меня была рассказана история моего младшего брата, ра-
ботавшего с Лозовским в Профинтерне и воевавшего там с ним "за чи-
стоту партийной линии". Кто из них был прав — не знаю. В 1937 году Ва-
ня был арестован и погиб...

Итак, Лозовский пришел в Гослитиздат. Не думаю, чтобы
ему доставило большое удовольствие встретить там еще одного
Катаняна...

Не знаю, какими красками и прилагательными будет ри-
совать будущий историк советских издательств период пребы-
вания в Гослитиздате Лозовского. Может быть, ему (истори-
ку) и сказать будет нечего. Единственное, что новый директор
сделал уверенной рукой, самовластно и прочно — начисто пере-
крыл все дороги для собрания сочинений Маяковского...

Несмотря на "лучшего, талантливейшего..." и т.д.

Семь томов нового собрания были в производстве, были
набраны, прокорректированы, приготовлены к печати и оста-
новлены в последний момент. Завезенная в типографию бумага
возвращена. Мне удалось только предотвратить уничтожение на-
бора. Все эти тома были заматрицированы, и, таким образом,
проделанная работа — большая работа! — была сохранена до
лучших времен.

Мои попытки объяснить с Лозовским показали только, что объяснения бесполезны.

— Мне нужно время, чтобы разобраться, — сказал Лозовский Лиле Юрьевне. — Все тщательно рассмотреть... Лично против вас я ничего не имею. (Мне он этого не сказал!) Мы можем даже издать ваши воспоминания, — прибавил он, — если, конечно, вы не предложите нам что-нибудь во французском вкусе...

Разумеется, он так и не разобрался за время пребывания на этом посту (полтора-два года?). Да и не мог бы разобраться, если хотел. И даже поручить было некому. Не было у него таких людей ни вокруг, поблизости, ни дальше...

Я начинаю сомневаться — не преувеличиваю ли, рассказывая об этом сегодня? Но так легко себя проверить по выходным данным на последних страницах. Смотри: сдано в производство — январь, январь, март, июль 1937 года, а подписано к печати через два (!) — два с половиной года (!) — февраль, февраль, ноябрь, декабрь 1939 года и т.д.

В октябре 1938 года была назначена новая редколлегия Собрания сочинений в составе Н.Н.Асеева, Л.В.Маяковской, В.О.Перцова и М.И.Серебрянского — вариант, принятый при самом близком участии А.А.Фадеева. Не говоря об одном совершенно пустом месте, которое носило однако подходящую фамилию, он имел в этом составе два своих голоса — "навазелиненного помощника присяжного поверенного", как Маяковский когда-то определил Перцова, и одного из самых бесцветных рапповцев — но все-таки рапповца! — Серебрянского, занявшего в Гослитиздате место арестованного В.П.Кина.

Этой редколлегии пришлось иметь дело с на три четверти готовым изданием. Никаких идей и соображений, касательно объема, порядка и структуры предстоящего издания от них не поступало. Они читали или, не читая, подписывали к печати последние корректуры каждого тома. Тем дело и ограничивалось.

Впрочем, помню один случай, когда в начале 1947 года по срочному требованию Л.В.Маяковской собралась в кабинете директора издательства П.И.Чагина вся редколлегия. Л.В. показало, что она поймала за руку редактора, который тенденциозно прокомментировал строки из второго вступления в поэму о пятилетке.

— Все знают, — сказала Л.В., — кому Володя посылал тогда телеграммы-молнии... (имеется в виду В.В.Полонская). А тут написано, что IV и V отрывки обращены к Л.Ю.Брик...

Мне было нетрудно объяснить, что редактор (это был я) нигде не

касается реальных телеграмм-молний, кому бы они ни посылались, что в поэтических отрывках речь идет не об этих телеграммах, а о *неотправленных*. "Я не спешу и молниями телеграмм мне незачем тебя будить и беспокоить..." (см. в томе 10, 1947, стр. 412).

Не успели Перцов и Серебрянский сориентироваться – куда податься в спорном вопросе, как встал Н.Н. Асеев и заявил, что ему надоел такой нелитературный подход, что он не хочет и не может считаться со всеми мелкими кляузами, в которые его постоянно пытаются вовлечь, и поэтому он выходит из редколлегии.

Небольшая пауза.

И опять Перцов и Серебрянский не успели переглянуться, как вдруг Л.В. поспешно взяла слово:

– Я беру назад свое заявление...

Так через пять минут к явному удовольствию искренне потешавшегося Петра Ивановича кончилось это заседание...

Издание, готовившееся с 1936 года и начавшее выходить в 1939 году, было закончено уже после войны. Оно заключало в себе полный свод вариантов по записным книжкам, рукописям, первопечатным текстам. Не только стихов, но и статей, очерков...

Нужно ли было все это? Вспомним, что все рукописи Маяковского еще лежат в железных ящиках у Бриков. Библиотека-музей в проекте. Идут споры – можно ли хранить рукописи в деревянном домишке?

Как бы то ни было, прошло семь или восемь лет – и все содержимое железных ящиков было напечатано. А потом и еще раз, двойным тиражом – 20 тысяч. Интересующиеся поэтикой Маяковского – много их или мало – получили, если не весь материал для изучения, то все ориентиры объема наследства. Вероятно, это был первый случай в истории, когда после смерти великого поэта его лаборатория была раскрыта не через десятки и сотни лет, а перед тем поколением читателей, которые знавали его живым...

Конечно, эти два издания не свободны от ошибок и недостатков. Еще бы! Мы начинали от нуля, ошибки были неизбежны, и – хочется думать! – такие, на которых можно чему-то научиться. Но кроме недостатков, я нахожу в этих изданиях и кое-какие достоинства. Особенно во втором. Оно ясно по плану, оно достаточно полно по содержанию, оно имеет некоторые уникальные материалы, которые не были повторены. (Ну, скажем, комментарий к поэме "Про это" – единственный в своем роде, написанный Лилей Юрьевной и мной (см. том 6, 1940,

стр. 375-379 и 479-484). Сложность сюжетного построения и об-разной системы поэмы побудили нас рискнуть прокомментировать реалистическое и сюрреалистическое движение сюжета и отдельные образы поэмы, поскольку такой комментарий возможен в применении к лирическому произведению).

От редактирования последних двух томов — четвертого и двенадцатого — я просил Гослитиздат освободить меня еще в 1946 году "ввиду полного отсутствия контакта и согласованности в работе с редакционной коллегией".

Последний том — 12-й — редактировал (*horibile dicta!*) Колосков. Тот самый! А редактором в выходных данных значился Софронов (другой!). Рекомендовала Колоскова на эту работу, разумеется, Л.В.Маяковская, и не потребовалось много времени и места, чтобы полностью прояснились его намерения и квалификация.

Автобиографией Маяковского, которая составляет основное содержание тома, Колосков распорядился по-хозяйски. Ему не понравилось, например, известное место, где Маяковский говорит об Октябре: "Принимать или не принимать? Такого вопроса для меня (и для других москвичей-футуристов) не было". Какие еще футуристы?! Взмах пера — и от футуристов не осталось и многоточия... (стр. 26).

Не понравилось Колоскову, как непочтительно рассказывается о чтении Горькому "Облака": "Расчувствовавшийся Горький облакал мне весь жилет". Вычеркнул. И кстати еще три фразы: "Скоро выяснилось, что Горький рыдает на каждом поэтическом жилете. Все же жилет храню. Могу кому-нибудь уступить для провинциального музея".

После дискуссии о Маяковском, когда издание Маяковского перешло в Институт мировой литературы, было мобилизовано все, что можно, чтобы заменить меня — не боги горшки обжигают — (конечно!), но и тогда непривередливые С.М.Петров и В.Перцов, готовые на что угодно и с кем угодно, и то не позарились на Колоскова.

Впрочем, героически-погромный период его деятельности еще впереди. Для этого нужны были многие предварительные условия, которые в то время еще не созрели¹².

ПРИМЕЧАНИЯ

Предлагаемая статья Василия Абгаровича Катаняна (1902-1980) входит в его рукописную книгу "Не только воспоминания", законченную в 1974 г. и частично опубликованную в западной и советской печати. Она бросает яркий свет на одно из самых знаменательных и значительных в истории России вмешательств государственного деятеля в творчество русского поэта и, тем самым, в судьбу русской литературы: сталинскую "резолюцию" о Маяковском по поводу письма Л.Ю. Брик 1935 г. Молодой лефовец и рефовец В.А. Катанян был в начале 30-х гг. одним из глашатаев "левого" течения в литературе и принимал, вместе с О.М. Бриком и Н.Н. Асеевым, активнейшее участие в литературной борьбе, разворачивавшейся в стране в преддверии и по поводу первого съезда писателей. Его воспоминания — ценное свидетельство очевидца и участника описываемых событий.

Бенгт Янгфельдт

1. Галина Дмитриевна Катанян (р. 1904) – жена В.А. Катаняна.
2. Л.Ю. Брик с 1934 г. жила большей частью в Ленинграде с В.М. Примаковым, заместителем командующего ленинградским военным округом.
3. Московская квартира Бриков находилась в Спасо-Песковском переулке на Арбате.
4. Письмо Л.Ю. Брик Сталину было впервые напечатано, анонимно и без комментариев, в сб. *Память*, вып. 1-й. Н.-Й., 1978, стр. 308-310 ("Письмо Л.Ю. Брик Сталину").
5. Модник – Московское общество драматических писателей и композиторов.
6. Ср. воспоминания В.В. Полонской: "С одной стороны, мне казалось, что я не должна ради памяти Владимира Владимировича отказываться от него, потому что отказ быть членом семьи является, конечно, отказом от него. Нарушая его волю и отвергая его помощь, я этим как бы зачеркну все, что было и что мне так дорого.

С другой стороны, я много думала, имею ли я право причинять страдания его близким, входя против их воли в семью.

Не решив так вот ничего, я отправилась в Кремль.

Вызвал меня работник ВЦИК тов. Шибайло. Он сказал:

– Вот, Владимир Владимирович сделал вас своей наследницей, как вы на это смотрите?

Я сказала, что это трудный вопрос, может быть, он поможет мне разобраться?

– А может быть, лучше хотите путевку куда-нибудь? – совершенно неожиданно спросил Шибайло.

Я была совершенно уничтожена таким неожиданным и грубым заявлением /.../.

– А, впрочем, думайте, это вопрос серьезный.

Так мы расстались.

После этого я была еще раз у тов. Шибайло, и тоже мы окончательно ни до чего не договорились.

После этого никто и никогда со мной не говорил об исполнении воли покойного Владимира Владимировича. Воля его в отношении меня так и не была исполнена” (Воспоминания В.В. Полонской были впервые напечатаны С. Чертоком в кн. *Последняя любовь Маяковского*, Апп Арбог, 1983; здесь цитируется более полный текст недавней публикации: В.В. Полонская. ”Воспоминания о В.В. Маяковском”, *Вопросы литературы*, № 5, 1987, стр. 198).

7. Полный текст этой передовой был впервые опубликован в 1975 г. – см.: Lars Kleberg. ”Notes on the Poem ’Vladimir Il’ic Lenin’”, в сб. *Vladimir Majakovskij. Memoirs and Essays* (eds. Bengt Jangfeldt / Lils Ake Nilsson), Stockholm, 1975, стр. 168-169.

8. Знаменитая фраза Сталина явно заимствована из письма Л.Ю. Брик: ”...он /.../ как был, так и остался крупнейшим поэтом нашей революции”.

9. О взаимоотношениях Горького и Маяковского см., например, комментарий Б. Янгфельдта к *Переписке В.В. Маяковского и Л.Ю. Брик*, Стокгольм, 1982, стр. 227-228.

10. Опера ”Камаринский мужик” (муз. В. Желобинского) ставилась в Малом оперном театре (либретто О.М. Брик напечатано в альманахе *С Маяковским*, М., 1934, стр. 130-194).

11. Виталий Маркович Примаков (1897-1937) был арестован в августе 1936 г. и расстрелян 12 июня 1937 г. вместе с Тухачевским, Якиром, Уборевичем и др. Примаков – талантливый писатель, напечатавший несколько рассказов в альманахе *С Маяковским* (М., 1934). Об аресте Примакова Л.Ю. Брик рассказала впоследствии Жану Марсенаку: ”/.../ я не могу простить, самой себе не могу простить, что были моменты, когда я склонна была поверить в его виновность” (”L’Humanité”, 1978, 7 авг.).

12. Речь идет о кампании 1968 г. против Л.Ю. и О.М. Бриков, возглавлявшейся ”маяковедами” А.И. Колосковым и В.В. Воронцовым (*Огонек*, № 16, 23, 26, 1968).





Éditions

ATHENEUM

10 bis, rue Dukesse 75018 Paris
Tél. : 42.62.14.21

предлагает новую книгу:

О.В. Волков. ПОГРУЖЕНИЕ ВО ТЬМУ. Из пережитого.
450 стр.

В мягкой обложке — 150 фр.фр.

В твердом переплете — 195 фр.фр.

Олег Васильевич Волков — писатель, переводчик, журналист. Его прочная репутация в отечественной литературе основана на десятке выпущенных книг: повести, рассказы, очерки, эссе о русских писателях, переводы Боннара и Золя, Бальзака и Ренуара... Не меньшую известность принесла Волкову и его публицистика: книги «Чур, заповедано» (1976), «Из истории московских улиц» (1985), «Все в ответе» (1986); постоянные выступления в газетах и журналах, где с начала 60-х годов он борется с разорением рек, лесов, озер; спасает русскую архитектуру; защищает последние островки традиционного быта, векового сельского уклада — словом, того, в чем сосредоточена для писателя живая душа России...

О.В. Волков родился 21 января 1900, в литературу пришел в 50-е годы человеком много испытавшим, перешагнувшим полувековой рубеж. О том, что было до того, составители предисловий и рецензий вынуждены умалчивать или говорить обычными в подобных случаях эвфемизмами. Причина проста: около трех десятилетий — с 1928 по 1955 — автор провёл в тюрьмах, лагерях, ссылках, кочуя по бесчисленным островам Архипелага — от Соловков до Ухты, от зырянских болот до восточносибирской тайги. Преступление его заключалось лишь в дворянском происхождении, да в том еще, что привитые с детства нравственные оценки, представления о чести, добре, милосердии — мало подходили к новой действительности.... Воспоминания о тех годах, о встречах в малой и большой зонах, размышления о том, во что обходится человеку и целой нации отказ от нравственности и от исторической памяти, — составляют эту книгу.

Продается в издательстве Atheneum
и во всех русских книжных магазинах.

